Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Статьи, исследования и материалы

9

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

СТАТЬИ, ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Межвузовский научный сборник

ВЫПУСК ДЕВЯТЫЙ

Издательство Саратовского университета
1983

801.12
Ч 49

Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Межвузовский научный сборник, Изд-во Сарат. ун-та, 1983, вып. 9, 168 с.

В сборнике публикуются работы, выясняющие широкий круг актуальных проблем эстетики Чернышевского, его литературной критики, связей с публицистикой второй половины XIX в., его биографии. Исследуются оценки его деятельности в различных кругах русского общества, история изучения Чернышевского в нашей стране и за рубежом.

Для преподавателей, научных работников, студентов-филологов и историков, читателей, интересующихся историей литературы и общественной мысли в России.

Редакционная коллегия: доц. *Г. Н. Антонова*, проф. *П. А. Бугаенко*, проф. *Е. Г. Бушканец*, доц. *А. А. Демченко* (ответственный редактор), доц. *Е. И. Куликова*, доц. *Г. В. Макаровская*, проф. *Е. П. Никитина*, проф. *Н. С. Травушкин*, доц. *Г. Ф. Самосюк* (ответственный секретарь).

Ч $\frac{722-13}{176(02)-83}$ 171—82 4603010100

© Издательство Саратовского университета, 1983 г.

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

В очередном (9-м) межвузовском сборнике продолжается разработка основных исследовательских направлений, намеченных предыдущими выпусками. Авторы сосредоточены на актуальных вопросах творческого наследия и разносторонних литературно-общественных связей Чернышевского.

В статье «Концепция личности как программная категория в работах Чернышевского и Добролюбова» рассмотрена система высказываний революционных демократов в связи с проблемой человека, сконцентрировавшей в себе многие кардинальные вопросы политики, философии, этики, социологии, эстетики, художественного творчества, литературной критики; освоение опыта классической критики имеет значение для уяснения соответствующих сторон современного литературного процесса. Статьи «Чернышевский над страницами «Московского телеграфа» и «Чернышевский об «идее искусства» Н. И. Надеждина» посвящены историко-критическому изучению автора «Очерков гоголевского периода русской литературы». Содержание статьи «Чернышевский о типологических особенностях русской прозы первой половины 1850-х годов» составили теоретические выводы критика-демократа относительно идейно-художественных особенностей рассказов и повестей современных ему писателей. В статье «Роман «Что делать?» в оценке Герцена» исследуются взгляды ведущих деятелей русского освободительного движения в их соотнесенности, противоречивости, сложности. Процесс восприятия идей революционно-демократической критики демократами-семидесятниками рассматривается в статье «Эстетика Чернышевского и Добролюбова на страницах журнала «Слово»; отношение к «наследству» и его интерпретация служили своеобразным зеркалом, отражающим общественные направления печатных периодических изданий народников.

Раздел «Публикации и материалы» включает впервые полностью печатаемый текст «Предисловия» переводчика и

биографа Чернышевского А. Н. Тверитинова к труду Чернышевского о Милле; «Предисловие» представляет интерес и как мемуарный источник, как пропаганда взглядов революционного демократа среди западно-европейских читателей. Новые биографические данные содержит сообщение «Двоюродная сестра Чернышевского Евг. Н. Пыпина». Здесь также помещены статьи историографической проблематики — «Изучение Чернышевского на Украине (1968—1978)», «Чернышевский в немецкой критике (1870—1945)».

Сборник посвящен светлой памяти профессора доктора филологических наук Евграфа Ивановича Покусаева, внесшего в изучение творческого наследия Чернышевского весомый вклад. Блестящий ученый-исследователь, великолепный организатор науки о писателе-революционере, Е. И. Покусаев был инициатором и в течение двадцати лет ответственным редактором издания «Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы» (вып. 1—8), которое признано «своего рода «энциклопедией» современных знаний о Чернышевском, его жизни и творчестве, эпохе и окружении»[1]. Пять изданий выдержал написанный им критико-биографический очерк о Чернышевском, перу ученого принадлежит обстоятельная статья в «Краткой литературной энциклопедии» (М., 1975, т. 8). Деятельности исследователя посвящена заключающая сборник статья «К истории советской науки о Чернышевском. Евграф Иванович Покусаев».

Тексты Чернышевского во всех статьях и материалах сборника цитируются по изданию: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти т. М., 1939—1953. Ссылки даются в текстах в сокращенном виде (римской цифрой обозначается том, арабской — страницы).

---

[1] Вопр. литературы, 1979, № 8, с. 232.

ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ

М. Г. ЗЕЛЬДОВИЧ

КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ КАК ПРОГРАММНАЯ КАТЕГОРИЯ В РАБОТАХ ЧЕРНЫШЕВСКОГО И ДОБРОЛЮБОВА

(Заметки и наблюдения к постановке проблемы)

1

Теория и история критики, — каждая по-своему, — стремятся ныне совладать с двуединой задачей: постичь природу, возможности критики и те способы, средства, развивающийся понятийный аппарат, с помощью которых осуществляется ее общественно-литературное призвание. При этом изучается не только взаимодействие между современной критикой и художественной практикой, побуждающей решать новые проблемы и находить для этого новые пути, аналитические приемы, обобщающие категории; не только содружество критики и теоретического литературоведения, во многом объясняющее по крайней мере происхождение вводимых в арсенал критики новых понятий. Наука вправе извлекать уроки также из процесса взаимодействия и «взаимоосвещения» современной критики и критики классической: освоение опыта предшественников предполагает и постепенное открытие в нем таких особенностей, которые прежде не были первостепенно важны и поэтому не требовали обобщающе-понятийных характеристик [1].

«Концепция личности», которая активно утверждается в современной критике, свидетельствуя о своей способности служить надежным инструментом исследования художественной практики и воздействия на нее, принадлежит к разряду

[1] Применительно к искусству «обратное» воздействие позднейших явлений на восприятие более ранних интересно рассматривается в кн.: Шабоук Сава. Искусство — система — отражение. М., 1976, с. 134 и др.

категорий, позволяющих углубить, «концентрировать» представления о литературе и критике также минувших эпох[2]. Отсутствие же самого термина у классиков критики (хотя предвосхищения его — приметная черта философско-критической мысли 40—60-х годов XIX в.), осложняя заботы об историзме наблюдений и выводов, по-своему даже стимулирует исследование, поскольку категория «концепция личности» выступает своего рода эвристической предпосылкой целостного осмысления творческого опыта критики по одной из кардинальных проблем.

Литературоведы настолько привыкли к таким необходимым понятиям, как образ-персонаж, характер, герой (с эпитетом и без), что часто не замечают: понятия эти даже в избранном аспекте не исчерпывают сущности «объекта», для обозначения которого они призваны и в котором схватывают только определенный уровень или параметр — то ли образность как принцип художественного «воссоздания» человека, то ли способ изображения человека в общественно-индивидуальном своеобразии его психологии и поведения, то ли качественную определенность персонажа в соотношении с эстетическим идеалом автора. Конечно, и при таком понятийном аппарате в поле зрения исследователя закономерно оказываются и способ объяснения, мотивировки характера, система детерминант, свойственных данному писателю и выражающих его творческие принципы. И все-таки необходима и научно правомерна — это становится все яснее — еще одна категория более высокой степени абстрагирования и большей емкости. Категория, целостно выражающая (формируемое средствами эстетики, критики, искусства) понимание человека в единстве, сложном взаимодействии его природы, отношений к обществу, миру, истории, другому человеку и самому себе, возможностей и способностей изменить общество, мир, самого себя, воздействовать на «бег времени». Такого рода философичность, «итоговость», «всеохватность» как раз и примечательны для «концепции личности», чем прежде всего определяется ее значение и место в понятийной системе науки и критики (как и в художественном творчестве). Опираясь на перечисленные выше литературоведческие понятия и как бы вбирая их в себя, концепция личности применительно к искусству слова и более целостна, более закончена, нежели концепция характера или концепция героя, т. е. понятия, которые логически и исторически предшествуют «концепции личности», а затем сосуществуют с нею, обладая

[2] Историки литературы уже не раз с успехом применяли названную категорию. См., в частности, кн.: Изображение человека. М., 1972; Кургинян М. Концепция человека в творчестве Шолохова. — Вопр. литературы, 1975, № 4; Тураев С. В. Концепция личности в литературе романтизма. — В кн.: Контекст-77. М., 1978.

своими задачами и своей сферой действия в науке и критике [3].

Может быть, именно поэтому концепция личности — из тех опорных категорий, которые особенно необходимы передовой русской критике с ее целеустремленной активностью в разработке теории реализма, с ее гуманистическим, общественно-преобразующим пафосом, с ее поисками единства публицистического и эстетического начал.

Одним из важных следствий природы и содержания «концепции личности» в критико-эстетическом ее истолковании является то, что категория эта, становясь средством исследования, оценки, интерпретации и отдельного произведения, и творчества писателя, и различных тенденций литературного процесса, способна приобретать значение программное, выражать взгляды критика как на сущностные свойства искусства вообще, так и на его связи с актуальными общественными проблемами и идеями века, на задачи и перспективы развития литературы. Концепция личности, таким образом, напрямую соотносится с аналитико-обобщающими и прогностическими функциями критики, по-своему отражает ее философские, социологические, идейно-эстетические ориентации, меру ее зрелости, проницательности, общественно-литературной действенности. Такова, видимо, другая важнейшая причина необходимости и вместе с тем — продуктивности категории «концепция личности» в русской критике.

Разумеется, на начальной стадии изучения проблемы общие суждения о ней в большой степени приблизительны. Но они и необходимы, и достаточны, чтобы обозначить направление и даже характер исследования. Когда речь идет об основательно изученном творчестве Чернышевского и Добролюбова, целесообразно сосредоточиться прежде всего на динамике и логике их идей, на процессе формирования и функционирования «концепции личности» как программной критико-эстетической категории.

2

Своеобразие общественно-идеологической ситуации и революционного мировоззрения Чернышевского и Добролюбова определило то обстоятельство, что проблема человека, скон-

---

[3] Сходным образом философская концепция личности в определенном смысле иерархически выше и по-своему содержательнее учения о человеке. Если концепция личности зиждется на учении о человеке и «преобразует» его в целостную систему воззрений на человека, то само по себе учение о человеке не обязательно обладает концептуальной полнотой и законченностью. Поэтому концепция личности — это и своеобразная равнодействующая слагаемых учения о человеке, и качественно новая философско-социологическая категория.

центрировавшая в себе многие кардинальные вопросы политики, философии, этики, социологии, эстетики, решалась ими в процессе формирования определенной концепции личности. В этой категории естественно и надежно сочетались цельность, многосторонность теории и обращенность к человеческой практике, итоги размышлений и вдохновляющая идея творчества жизни, понимание человека каков он есть и забота о его совершенствовании в «делаемом деле» преображения действительности [4].

Концепционность проблемы человека тесно связана с антропологическим характером воззрений Чернышевского и Добролюбова. Прошло время, когда в антропологизме усматривали только «слабость» и «издержки» их философских убеждений; все яснее становится, что, помимо других обстоятельств, в антропологизме по-своему отразилась и социальная значимость, и социальное содержание проблемы человека [5]: таков парадокс истории!

Когда же речь идет собственно об эстетике, критике, то здесь по праву заявляли о себе также традиции и завоевания русской литературы, особый характер концепционности образа ее основного героя, содержательность и высота общественно-нравственных критериев [6], особая актуальность проблемы действия, гармонии личностных и передовых социальных устремлений. Завоевания, становившиеся и предметом обсуждения, и стимулом в исканиях Чернышевского и Добролюбова, и исходным моментом их прогнозов.

Вводя в работе «Антропологический принцип в философии» формулу «теория личности», Чернышевский вместе с тем рассматривает эту работу всего лишь как «предисловие к очерку философских понятий о человеке» (VII, 255), обоснование целостности человека и монистического естественнонаучного подхода к изучению его природы. В построениях Чернышевского видится очень выразительное двуединство, которое делает более отчетливыми и внутренние различия, неоднородность составляющих его компонентов. С одной стороны, — это концептуальность замысла автора: ведь «теория личности» подразумевает определенную целостность и законченность в раскрытии специфики предмета. Но как раз

---

[4] См.: История философии в СССР. М., 1968, т. 3; Галактионов А. А., Никандров П. Ф. Русская философия XI—XIX веков. Л., 1970; Кружков В. С. Н. А. Добролюбов. М., 1976.

[5] См. статью Л. В. Яценко «Новый Дидро и материализм XVIII века» (Вопр. философии, 1979, № 5), поучительную и своим подходом к «материалистической концепции человека» (с. 140), и наблюдениями над конкретно-исторической сущностью натуралистической антропологии.

[6] Об этической направленности, «нравственном напряжении» русской философской и художественной мысли см.: Кантор В. К. Русская эстетика второй половины XIX столетия и общественная борьба. М., 1978, с. 21 и др.

здесь-то обнаруживается, что при всей философско-обобщающей значительности идей Чернышевского, они ближайшим образом направлены не на создание концепции личности, а на постижение природы человека, принципов его жизнедеятельности, путей изучения того и другого, хотя — и это первостепенно важно — в конечном итоге создают фундаментальные основы такой концепции.

Можно утверждать, что мы имеем дело с парадоксальной и поэтому весьма примечательной ситуацией, отражающей своеобразное разделение функций в философском и критическом творчестве Чернышевского (и в принципе, хотя, пожалуй, в меньшей степени, Добролюбова). В философских трудах Чернышевский по преимуществу занят общим учением о человеке, его природе, потребностях, стимулах поведения, нравственности, характере психологии, о путях создания «теории человека». Собственно же концепция личности формируется и чуть ли не экспериментально исследуется и утверждается Чернышевским в живой практике общественно-литературного движения, отчасти в работах эстетических, но главным образом — литературно-критических (а также, добавим, — художественных). Именно здесь, опираясь на открытия реалистической литературы, на созданные ею концептуальные типы, отразившие сложность и противоречия жизни, смену «героев времени», поиски и становление новых качеств личности и принципов ее художественного воплощения, Чернышевский, а затем и Добролюбов наиболее полно разрабатывают различные грани той проблемы, которая в целостности своей возвышается до концепции личности. Намеченное разграничение, разумеется, не формальный прием «классификации» материала, а средство постичь сущность, судьбу концепции личности в работах Чернышевского, Добролюбова, уяснить роль их критико-эстетических произведений в формировании концепции личности, а концепции личности — в решении аналитических, обобщающих и прогностических задач критики.

3

Когда Чернышевский занялся исследованием эстетических отношений искусства к действительности, сама тематика и цель работы потребовали определенным способом построенного изучения сущности и устремлений человека — прежде всего потому, что именно он созидает искусство, становится в эстетические отношения к действительности[7]. Однако своеобразие Чернышевского в данном случае не столько в самом

[7] Этот круг вопросов разработан в кн.: Соловьев Г. Эстетические воззрения Чернышевского. М., 1978.

обращении к проблеме (она явственна и в построениях, скажем, Дружинина), сколько в способе, характере, результатах разработки ее.

Начиная авторецензию на «Эстетические отношения...», Чернышевский сразу же связывает новизну современных эстетических воззрений с другими, чем прежде, «воззрениями на мир и человеческую жизнь»: «при тесной зависимости эстетики от общих наших понятий о природе и человеке, с изменением этих понятий должна подвергнуться преобразованию и теория искусства» (II, 93). Вывод, генерализующее значение которого подчеркнуто упреком, будто Чернышевский «слишком бегло проходит пункты, в которых эстетика соприкасается с общею системою понятий о природе и жизни» (II, 95). А упрек, помимо всего остального, как бы высвечивает именно эти «соприкосновения» и связи в их объективной значимости.

Новизна идей Чернышевского в интересующем нас аспекте особенно отчетлива в «большой логике» и опорных пунктах его рассуждений. Одна из главных начальных (не композиционно, а логически!) посылок — тезис о содержательной значимости искусства и о прямой связи этой значимости с целями, потребностями человека. Чем необходимее и глубже эта связь, тем важнее понять природу желаний, стремлений человека, дифференцировать их и найти им качественное определение. Задача, обращенная — это двуединство абсолютно закономерно и логично — в одно и то же время и к человеку и к искусству. Чернышевский разграничивает «истинные потребности человеческой природы, которые ищут и имеют право находить себе удовлетворение в действительной жизни, от мнимых, воображаемых потребностей, которые остаются и должны оставаться праздными мечтами» (II, 101—102). Хотя формулировка носит характер антропологический, система взглядов Чернышевского шире, историчнее, содержательнее. И прежде всего благодаря серьезным уточнениям, которые, во-первых, связывают «потребности человеческой природы» с общественными обстоятельствами (опять «человек в обстоятельствах», а не просто человек!), конкретизирующими и «материализующими» эти потребности; во-вторых, вводят критерий истинности (ложности) в характеристику потребностей: им становится принципиальная осуществимость и практическая осуществляемость стремлений человека. Истинные стремления тем и отличаются, что становятся «делаемым делом». «Дело есть истина мысли» (II, 102), — напоминает Чернышевский.

И вот здесь-то явственно сопрягаются человек, его потребности, его сущность и — искусство. Наряду с наукой и распространяя ее завоевания, искусство помогает человеку постичь действительность, найти реальные средства и спо-

собы преодоления того, что враждебно человеку, утверждения и развития того, что благоприятствует и необходимо ему. В сущности, основные понятия и выводы из эстетических работ Чернышевского стягиваются в один проблемный узел — человек как преобразователь, творец жизни и искусство как средство преобразования жизни и самого человека. И когда речь идет о понятии прекрасного и оно связывается с объективно обоснованным идеалом человека (такой словесной формулы нет, но она задана методологической установкой автора и всем контекстом его работ), и когда преображение жизни становится неотъемлемым слагаемым этой основополагающей категории; когда искусство рассматривается как объяснение и приговор изображаемым явлениям, как нравственная деятельность, восстанавливающая против зла мира сего и помогающая его преодолеть, — во всех этих (и многих других) кульминационных моментах своих рассуждений Чернышевский создает не только эстетическое учение, но и «теорию личности». От философской сущности прекрасного, от постижения этой сущности — к творчеству прекрасного, к человеку как творцу прекрасного на почве противоречивой жизненной реальности, — такова внутренняя логика Чернышевского, закономерно сопряженная с определенной концепцией личности и остро обнажающая если не всю концепцию, то некоторые стороны ее.

В эстетических трактатах Чернышевского человек осознан не только как предмет искусства и не в самодовлеющем своеобразии тех его проявлений, которые непосредственно важны для искусства. Эстетические отношения к действительности предстают и как отношения творчества, преображения действительности, а человек — не просто как «носитель» порожденных действительностью идеалов, но как последовательный и самоотверженный борец за них.

В «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевский целеустремленно использует возможности, которые перед ним открывал анализ мировоззрения Гегеля и Белинского, чтобы сделать концепцию личности прямым предметом обсуждения и философско-социологически углубить ее. Этот круг идей развивается опять-таки не на периферии, а в одном из главных смысловых центров труда Чернышевского — там, где автор обосновывает принцип объективности идеала как прямой, жизненно необходимый вывод из «реабилитации действительности». Сочетая философскую масштабность и практическую целенаправленность мышления, Чернышевский находит естественный переход от общего принципа к жизненной ориентации и поведению личности. Так появляется понятие «положительного человека», закономерно занявшее свое место в системе опорных категорий философии, этики и эстетики Чернышевского и по-своему

целостно выражающее некоторые их существенные аспекты: активность отношения человека к действительности, «коллективизм», деятельную гуманистичность его идеалов и свершений. Недаром «конечный вывод мудрости земной», когда речь идет о положительных людях, выливается в политическую по своей сути идейно-нравственную программу — «при помощи благоприятных человеку сил и обстоятельств бороться против того, что неблагоприятно человеческому счастью» (III, 230) [8].

Властно войдя в арсенал революционно-демократической критики, эти идеи Чернышевского прошли в ней испытание и многократно подтвердили свою общественно-литературную необходимость и плодотворность именно как методологические завоевания, как этические и эстетические критерии. Прежде всего это относится к критической деятельности самого Чернышевского, а затем и Добролюбова (особая и важная проблема — взаимосвязи и соотношения концепции личности в работах Чернышевского, Добролюбова, Герцена, Писарева, Щедрина, Шелгунова: порою именно эта концепция, и была первоосновой и единения, и расхождений в демократическом лагере, о чем свидетельствуют и разногласия между «Современником» и «Колоколом»).

В практическом приложении к современной литературе открытия Чернышевского обогащались и упрочивались фундаментальными идеями, которые и раньше были ему присущи, но пребывали как бы в скрытом виде, а затем актуализировались и становились слагаемым критико-теоретического исследования. До классических работ Добролюбова принципиально значительны статьи Чернышевского о Толстом и Щедрине.

Поставив в разборе «Губернских очерков» во главу угла принцип социальности, Чернышевский усмотрел в нем основу художественной правдивости — в той мере, в какой этот принцип помогает постичь, художественно изобразить социальные предпосылки и сущность характера, сформировать у читателя опять-таки социально мотивированное (и потому надежное, сопряженное с действенными выводами) отношение к персонажу и действительности в ее определяющих особенностях [9]. Обратившись к социальным первоосновам человека, Чернышевский тем самым с нарастающей отчетливостью раскрывал свою теорию именно как «концепцию лич-

---

[8] Подробнее см. в наших работах: Чернышевский и проблемы критики. Харьков, 1968; Историзм и творчество. Ленинское наследие и проблемы русской литературы и критики. Харьков, 1980.

[9] См.: Бурсов Б. И. Мастерство Чернышевского-критика. Л., 1956; Зельдович М. Статьи Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова о Щедрине и вопросы теории критики. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Изд-во Сарат. ун-та, 1968, вып. 5.

ности» — применительно и к жизни, и к искусству. Все дело в том, что сама философско-антропологическая категория «личность», по современным научным представлениям, воплощает устойчивую систему социально-значимых черт, характеризующих индивида как члена того или иного общества или общности [10], персонифицированную социальную деятельность [11].

Вместе с тем столь дорогая Чернышевскому идея преобразования действительности «при помощи сил и обстоятельств, представляемых ею» (III, 229), в свою очередь, конкретизирует принцип социальности, придает ему пафос революционной действенности. Единство, характерное для русской критико-эстетической мысли и весьма перспективное для самого искусства слова.

Статья Чернышевского о Толстом непосредственно к концепции личности обращена прежде всего двумя темами, которые трактуют это понятие и в его философско-этическом, и в собственно художественном содержании. В концепции личности Чернышевский в обстановке духовного напряжения 60-х годов выделяет роль нравственной ответственности и постоянного испытания человека на оселке нравственных требований. И сколь знаменательна при этом связующая нравственность и искусство мысль о «чистоте нравственного чувства» как факторе художественного творчества. Вместе с тем, откликаясь на новый опыт литературы, Чернышевский исследует открытие Толстого в самом способе психологического анализа душевной жизни, взаимоотношений человека с окружающим миром, то есть принципы и стилевые средства создания художественной концепции личности.

Чернышевский далеко вышел за границы прямого предмета размышлений и обогатил исследовательские возможности своей концепции личности, содействуя решению все усложнявшихся задач литературы и критики. И прежде всего — решению проблемы героя времени, которая потребовала от критики исследования, с одной стороны, судеб и современного значения образов «лишних людей», а с другой — идейно-художественной природы и принципов создания типа деятельного героя, нового человека той бурной эпохи.

Этому кругу вопросов посвящена большая научная литература, в которой, в частности, прослежены динамика критической мысли Чернышевского и Добролюбова, эволюция и соотношение, политическое и идейно-эстетическое содержание их взглядов [12]. Представляется, что по этим и другим

[10] Такое определение предлагает И. С. Кон в статье «Личность» (БСЭ, изд. 3-е, т. 14, с. 578).

[11] Каган М. С. Человеческая деятельность. М., 1974, с. 259.

[12] Назовем лишь обобщающую работу: Гаркави А. М. Чернышевский и Добролюбов о «лишних людях». — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Изд-во Сарат. ун-та, 1975, вып. 7.

«параметрам» можно достичь большей убедительности, целостности характеристик и выводов, если в анализ последовательно вовлечь категорию «концепция личности» (едва ли не ближе всего к этому А. М. Гаркави). Уяснение слагаемых концепции личности, связей и взаимодействий между ними, процесса актуализации важнейших из них (к примеру, то роли общественной среды, то социальной активности, преобразующей обстоятельства, главенство то нравственного критерия, то непосредственно общественно-политического и т. п.) сообразно логике общественно-литературного движения и одновременное уяснение динамической целостности самой концепции — в своей совокупности может оказаться перспективным подходом к одной из важных проблем литературы и критики. Вместе с тем откроются новые возможности для углубленного понимания, а порою и для нового прочтения работ Чернышевского и Добролюбова в своеобразии их идейно-содержательной структуры и творческой программы.

Размышлениями над статьей Добролюбова «Благонамеренность и деятельность», вошедшей в круг его программных выступлений и еще не бывшей предметом специального изучения, попытаемся конкретизировать роль «концепции личности» в критическом обобщении опыта литературы и утверждении ее новых творческих принципов.

4

«Благонамеренность и деятельность» («Современник», 1860, № 7) — статья прямой и сосредоточенной программности и требовательности к литературе и ее герою, притом программности и требовательности, выраженных не только идеологически, но и методологически. Как ни мало (относительно, конечно) места уделено в статье разбору повестей Плещеева, сам разбор надежно сопряжен с главной проблематикой статьи [13], хотя проблематика эта скорее иллюстрируется разбором, чем вырастает из него (и это тоже примета откровенной подчиненности работы Добролюбова задачам несоизмеримо более широким, нежели обзор произведений третьестепенного прозаика. Предмет своих интересов Добролюбов определяет подчеркнуто точно: «характер содержания... произведений» (6, 191) [14] Плещеева. Не просто содержание, а именно его характер, то есть природа, структура,

[13] И этим добролюбовский разбор тоже отличается от рядовых рецензий на книгу Плещеева, в частности от очень эмпиричной, без серьезной мысли заметки А. Милюкова (Светоч, 1860, № 3).

[14] Цит. по кн.: Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти т. М.—Л., 1961—1964. В тексте указываются том (первая цифра) и страница (вторая цифра).

своеобразие организации содержания. Добролюбов подразумевает здесь некоторые особенности творческого метода Плещеева.

Статья и строится как восхождение от узких по сфере действия в повестях Плещеева, но в принципе едва ли не всеобъемлющих творческих установок — к их «приложению» к важнейшим задачам современной литературы. Идея социальности как творческий принцип — основная из этих установок. Создание образа «деятельного героя» — главная для Добролюбова проблема. (И то и другое объединяет «Благонамеренность и деятельность» со статьей «Когда же придет настоящий день?»).

В отличие от «робинзонад» беллетристики 30—50-х годов, в повестях Плещеева постоянно присутствует «элемент общественный» (6, 192), причем имеется в виду не содержание их само по себе, а прежде всего стоящий за ним творческий принцип, который побуждает определенным образом объяснить поведение и психологию человека, строить конфликты и сюжет произведения. «В истории каждого героя повестей г. Плещеева вы видите, как он связан с своей средою, как этот мирок тяготеет над ним своими требованиями и отношениями, словом — вы видите в герое животное табунное[15], а не уединенное. Элемент общественный присутствует в каждой повести...» (6, 192).

Усматривая в этом главное достоинство прозы Плещеева и тем самым подчеркивая значительность самого принципа, Добролюбов вовсе не склонен видеть в нем нечто исключительное в современной литературе. Напротив, «это уже сделалось теперь почти неизбежной точкой отправления для всякого мало-мальски здравомыслящего повествователя» (6, 193). Но сказано это не для снижения веса идеи социальности, а для уяснения ее конкретного смысла и возможностей, ее способности воздействовать на решение новых задач литературы.

Добролюбов устанавливает: «Разлад человека, хоть сколько-нибудь порядочного, с окружающей действительностью сделался общею темою современной литературы. В этом предмете сходятся все партии, все направления, все оттенки литературных мнений» (6, 193). Тем более важна для художника новизна в творческих решениях такой темы, а для критика и теоретика — осмысление методологических подходов к ней. Рассуждения и выводы Добролюбова и отличаются прежде всего своей подчеркнутой методологичностью, которая оборачивается методологической же постановкой проблемы «характер и обстоятельства» как программной для современной литературы.

---

[15] В тексте «Современника»: «существо общественное» (6, 517).

Можно по-разному относиться к намеренно полемической квалификации Добролюбова, выделившего целую школу беллетристов, для которых девизом стал мотив «среда заедает человека», и назвавшего эту школу тургеневской. Однако несомненно, что критерий при этом избран методологический, — понимание взаимоотношений человека и общественной среды. Речь идет, конечно, не о том, чтобы отказаться от самой идеи влияния среды на личность, — имеется в виду конкретизация и углубление этой идеи. Не только задачи литературы, но и наметившаяся односторонность применения принципа социальности потребовали этого. Сложилось исторически объяснимое, но неоправданное «разделение функции»: если в произведениях «тургеневской школы» внимание сосредоточено главным образом на характере, то, как бы дополняя ее, изображение среды взяла на себя обличительная «щедринская школа», измельчив и обузив социальные обстоятельства. Последствия затронули прежде всего самый метод писателей и не позволили им уловить некоторые важные особенности человеческих характеров и «людских отношений». «Оттого, — заключает Добролюбов, — во всех наших повестях — обличительных или художественных — все равно, — всегда есть много недоговоренного и — главное — всегда есть место двум вопросам: с одной стороны — *чего же именно добиваются эти люди,* никак не умеющие ужиться в своей среде? а с другой стороны — *от чего же именно зависит противоположность* этой среды со всяким порядочным стремлением и на чем в таком случае опирается ее сила?» (6, 193. — Курсив наш. — *М. З.*). Неопределенность героя и снисходительность авторского отношения к нему, поверхностное объяснение его судьбы как результат нарушения «полного соответствия» (6, 194) между характером и обстоятельствами, т. е. между «элементами, из борьбы которых слагалось содержание повести» (6, 194) писателей «тургеневской школы», включая, в общем, и Плещеева,— таковы более отдаленные, но не менее ощутимые результаты ущербности принципа социальности как он, по Добролюбову, заявил о себе во многих произведениях, резко снижая — это критиком подчеркнуто — и их собственно художественный уровень.

Так определяются в статье Добролюбова две основные тематические линии, которые, взаимодействуя и переплетаясь, воплощают ее методологическое содержание: проблема характера и проблема обстоятельств — в их единстве.

Проблема героя для Добролюбова — одновременно проблема жизненная и литературная. Ибо такова ее двуединая сущность в действительности и, что не менее важно, только при такой ее трактовке Добролюбов может осуществить критику либерализма на материале художественных произведений, воздействовать на литературный процесс. Но еще требо-

валось обнаружить и аналитически показать, что именно принципиально связывает характер и обстоятельства, художественные и идеологические решения или, иначе говоря, что придает всей возникшей перед Добролюбовым проблематике единство и целостность. Критик возвел это единство и целостность к методу, ближайшим образом — к принципу социальности, в понимании и применении которого обнаруживаются также идеологические устремления писателя. Благодаря такой «жесткости» логико-композиционной структуры статьи «Благонамеренность и деятельность» программа Добролюбова, в свою очередь, была выражена целостно и целенаправленно: при любом отношении к ней труднее всего было оспорить ее методологию (это распространяется даже на Герцена).

По сути воскрешая давние сомнения Белинского, Добролюбов находит противоречивой свойственную «тургеневской школе» трактовку взаимосвязи личности и среды, и среды самой по себе. Критик на этот раз обратился не к классическим образам лишних людей, а к явлениям ординарным — по строю характера и массовидным — по степени распространенности. Чем менее они исключительны, тем очевиднее непоследовательность в их художественной мотивировке. Универсальной, все объясняющей стала ссылка на «дурную среду» и «пошлую действительность», которая и порождает каких-то пухленьких младенцев, по своему внутреннему бессилию находящихся в полной зависимости от окружающей «среды» (6, 195)[16]. Определив таким образом тип «массового» лишнего человека, вроде героев Плещеева, Добролюбов обнаруживает вопиющую непоследовательность его создателей. Если «благородные юноши» оказываются способными всего лишь на рабскую зависимость от обстоятельств, то не только среда, но и сами они должны стать предметом «самой беспощадной сатиры». Не одно лишь требование дела и сознательности руководит здесь Добролюбовым. Он вообще отвергает механическое, бесперспективное понимание проблемы «человек и среда». Понимание, превращающее зависимость в фатальную предопределенность личности средой и не замечающее противоречий, центробежных сил в самой среде. Просчет, особенно ощутимый в периоды революционного подъема и бросающийся в глаза прежде всего деятелям революционного лагеря.

[16] Еще не изучены во всей полноте позиции «массовой» критики 60-х годов в отношении образа «лишнего человека». Нарастающий критицизм порою заявлял о себе и до соответствующих работ вдохновителей «Современника». Так произошло и с оценкой персонажей Плещеева (см., в частности: Русское слово, 1860, № 3, отд. II, с. 65). Но не менее сходства значительно здесь и различие: если критик «Русского слова» ответственность героев Плещеева представляет чем-то побочным и случайным, результатом художественной неумелости автора, то для Добролюбова этот вывод — сугубо принципиален, жизненно и эстетически злободневен.

Мотивировка «деятельного характера» как слагаемое концепции личности — таков один из основных вопросов, в которых воплощено идеологическое и методологическое содержание статьи «Благонамеренность и деятельность». Поэтому для Добролюбова важна только одна сторона дела — развенчать «благородных юношей», поставить их «на место». Не менее важная задача заключалась в том, чтобы нащупать пути убедительного объяснения и художественного воссоздания «положительного человека». Развенчание «благородных юношей» показало, что там, где нет сопротивления враждебным обстоятельствам и деятельного преодоления их, там нет источника, перводвигателя истинно положительных качеств личности.

Объяснить характер средой, разумеется, необходимо, и не этот вопрос, в сущности, обсуждается теперь. Выяснилось, что только «винить» среду — значит ограничивать возможности литературы постигать действительность в ее противоречивой целостности. Причем в тени остаются как раз начала положительные, художественное осознание которых может многое дать литературе как искусству и как пропаганде. Необходимо искать вообще новые принципы взаимодействия личности и среды, так или иначе заявившие себя в русской действительности и по-своему отражающие ее устремления.

В конкретизации принципа социальности Добролюбов столкнулся с серьезными трудностями, поскольку необходимо было открыть источники положительных начал в человеке, окруженном антигуманным в основе своей обществом. Проще всего сослаться на противоречивость аргументации Добролюбова, сочетающей в себе доводы социологические с антропологическими, хотя и на разных правах. Однако надо еще выяснить роль и удельный вес каждой из этих разновидностей доказательства, конечную цель, которой они подчинены,— систему и внутреннюю логику рассуждений Добролюбова.

В оценке человека он демонстративно переносит центр тяжести с психологии, духовного и душевного мира в сферу действия, общественно значимой практики, что обосновано ссылкой на «сущность природы» человека. Как бы сложна она ни была, ей свойственно «стремление к развитию» и, следовательно, «наклонность к деятельности» (6, 197). Отсюда и стремление к свободе развития, действования, к условиям, обеспечивающим самую их возможность; отсюда и нежелание препятствовать другим людям — по соображениям «разумного эгоизма» — в их, столь же естественных и правомерных, потребностях и запросах. Но именно первозданность и органичность всего этого в «природе человека» делает необходимой также борьбу за возможность естественного развития. Недаром эта мысль и завершает мотивировочное рассуждение Добролюбова: «уже если помеха явилась, надо тотчас удалить ее. Иначе вся свобода деятельности уничтожается,

всякая возможность естественного развития останавливается» (6, 198).

Антропологические аргументы, ставшие решающим конечным доводом, вместе с тем служат исходной точкой для важных заключений. Первое касается характера лишнего человека и отношения к нему. По поводу только что изложенных мыслей Добролюбов замечает: «Все это отступление мы сделали к тому, чтобы показать, как просты и естественны для человека те стремления и понятия, которые обыкновенно выставляются в героях повестей наших как что-то особенное, высшее, поднимающее нас над уровнем обыкновенной толпы» (6, 198). Добролюбов по-своему закономерно относит «благородных юношей» к людям, так сказать, без заслуг, даже без заслуг в самостоятельности своих возвышенных стремлений: они претендуют на исключительность, а критик доказывает их элементарность.

Но у этого вывода есть оборотная сторона: идейно-этический максимализм, стоящий за добролюбовскими ниспровержениями и обосновываемый опять-таки доводами антропологическими. России нужны сейчас люди, для которых сознательность передовых устремлений и неотступная деятельность были бы столь же естественны, как сама сущность человека. Люди, не способные быть иными.

В дальнейшем обсуждение типа «благородного юноши» приводит Добролюбова к наблюдениям, которые в конечном счете «перевешивают» в его концепции антропологические доводы.

Возвращаясь к жалобам «благородных юношей» на «заедающую» среду, Добролюбов обнаруживает несообразность, объясняющую многое в их философии и жизненных позициях и, вместе с тем, побуждающую по-новому взглянуть на проблему «лишнего человека», как и на проблему «деятельного характера».

«Благородные юноши» выступают строгими обвинителями своих спутников на жизненном пути. Юноши эти «хотят идти прямо, но толпа около них стремится в сторону и их тащит за собою...» (6, 202). Итак, толпа виновата. Вот, оказывается, в ком воплощена, по представлениям «благородных юношей», эта злополучная «среда». Но такой вывод характеризует только кругозор и масштабы мышления его авторов. И как раз здесь начинается спор Добролюбова с «благородными юношами» (и не только, разумеется, с ними) о самом понятии среды и о месте его в иерархии философско-социологических категорий, которые столь значительны и сами по себе, и по своей роли в эстетическом обосновании программы современной литературы.

Изложив уже известные нам сетования «на среду», Добролюбов сразу же выявляет их поверхностность и ограничен-

ность: «благонамеренные, прямые юноши не дают себе труда даже подумать серьезно о том, отчего же, однако, их спутники именно в этом месте сворачивают в сторону? Неужели так, по прихоти, без всякой причины и надобности?» (6, 203). В эзоповской форме поставлена проблема, оказывающаяся ключевой для всего замысла Добролюбова и заставляющая его от универсальности антропологических соображений обратиться к конкретной действительности. Добролюбов получает возможность сформулировать мысль, недоступную «благонамеренным юношам: «причина не в толпе идущих, а в препятствии, стоящем на дороге; вовсе не толпа виновата в том, если прямой путь стремительных юношей затрудняется» (6, 203), а социальные обстоятельства.

Вообще теперь в статье Добролюбова намечается разграничение собственно среды как окружения человека, представленного другими людьми, и социальных обстоятельств в широком смысле, которые и служат «главной причиной», «корнем всего» (6, 204) и держат в зависимости от себя и «среду» и отдельную личность. Такое разграничение, идущее вразрез с антропологическими представлениями, содействует упрочению и конкретизации идеи социальности у Добролюбова и в применении к концепции личности.

Благодаря этой идее ближайшим образом и делается вывод (к которому все время и не в первый раз ведет читателя Добролюбов), что следует обрушиться именно на первопричину зла и с таких позиций судить о литературных персонажах и «платонических любовниках либерализма» (6, 210). И этот вывод, — именно потому, что он не только политический, но и методологический, — опять-таки имеет и другую сторону, уже позитивную. Отвергая, Добролюбов утверждает. Утверждает те идейно-эстетические критерии и принципы, которыми никак нельзя пренебречь писателю, создающему новаторский образ деятельного героя, — а время для этого вот-вот грядет. В сущности, Добролюбов здесь придал характер теоретически аргументируемой концепции личности тем наблюдениям и выводам, которые он сделал уже при разборе тургеневского «Накануне».

Для этого критику понадобилось углубить, отчасти переосмыслить, придать широту и главенствующее социальное содержание понятию среды (недаром, значит, автор сопровождал слово «среда» загадочными до поры до времени кавычками, намекавшими на условность или неполноценность понятия в системе ходячих представлений) и сопречь его с категорией общественно-преобразующей деятельности.

Сосредоточившись в статье о Плещееве главным образом не на аналитическом выявлении и публицистическом обсуждении метода писателя, как это бывало в его работах прежде, а преимущественно на прямой постановке методологических

вопросов литературы (и социологии), Добролюбов таким способом утверждал свои представления о путях ее дальнейшего развития, и прежде всего — о концепции личности нового героя, о принципах создания «деятельного характера».

* * *

Общественно-литературная актуальность и явственная программность концепции личности, обращенной в одно и то же время и к жизни, и к искусству, объединившей в себе аспекты социально-политические, философские и собственно эстетические, художественно-творческие, во многом связаны с тем, что сама концепция личности выражает сущность метода писателя. Данное обстоятельство влечет за собою множество важных последствий для уяснения значимости проблемы и выбора путей ее изучения. Подтверждая ориентированность аналитической мысли Чернышевского и в особенности Добролюбова на творческие принципы писателя [17], этот вывод побуждает исследовать взгляды вдохновителей «Современника» в соотнесении с особенностями и исторической динамикой различных типологических разновидностей реализма в русской литературе.

С другой стороны, поскольку и концепция личности есть понятие типологическое, «интегративное», освоение выводов классиков, применение этой категории может содействовать основательности, методологической осознанности историко-типологических изучений, в которых «типология героя» занимает одно из центральных мест [18]. В особенности, когда речь идет о сущности и соотношении методов, о логике их развития и исторических судьбах. На этих путях, в конечном счете, можно ожидать не только углубления наших знаний по истории и теории критики, но и все более активного их взаимодействия с наукой истории литературы, что становится одной из перспективных примет современного литературоведения.

---

[17] См.: Зельдович М. Г. Уроки критической классики. Вопросы теории и методологии критики. Харьков, 1976.

[18] См., напр.: Развитие реализма в русской литературе. М., 1973, т. 2, кн. I, с. 12 и др.; Литература США XX века. Опыт типологического исследования. Авторская позиция, конфликт, герой. М., 1978.

Л. П. БОРЗОВА

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ ОБ «ИДЕЕ ИСКУССТВА» В ЭСТЕТИКЕ Н. И. НАДЕЖДИНА

Как известно, признание Чернышевским исторических заслуг Надеждина как предшественника Белинского вызывало разноречивые оценки и в дореволюционном, и в советском литературоведении. Сложность философско-эстетической позиции Надеждина-критика давала достаточно поводов и примеров для подтверждения своей правоты как сторонникам, так и противникам Чернышевского. Сам Надеждин при этом чаще всего прочитывался избирательно. Целостный конкретно-исторический подход к изучению сложного наследия Надеждина, наметившийся в последнее время в работах Ю. В. Манна[1], позволяет более обоснованно ответить на вопрос, что же обусловило высокую оценку деятельности Надеждина со стороны Чернышевского. За дополнительными уточнениями представляется необходимым обратиться как к некоторым вопросам генеалогии эстетических идей Надеждина, так и к вопросу об отношении Чернышевского к «Московскому вестнику» — органу шеллингианской философии. Определение «меры заслуг» Надеждина снова привело Чернышевского к проблемам своеобразия русского осмысления идей немецкой эстетики.

В отношении Чернышевского к «немецкому направлению» в 50-е годы сказались общие особенности историзма его литературно-критической концепции[2]. Читая Надеждина, Чер-

[1] См.: Манн Ю. Русская философская эстетика. М., 1969, с. 43—75; Манн Ю. Факультеты Надеждина. — В кн.: Н. И. Надеждин. Литературная критика. Эстетика. М., 1972, с. 3—44.

[2] Об этом см.: Макаровская Г. В. Пушкин в оценке Чернышевского. (Проблемы историзма в литературно-критической концепции Чернышевского середины 50-х годов). — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Изд-во Сарат. ун-та, 1978, вып. 8.

нышевский выделяет те моменты его суждений, которые подготовили деятельность Белинского — критика гоголевского периода русской литературы («факт, столь значительный, как критика гоголевского периода, не мог возникнуть внезапно, в одно прекрасное утро») (3, 140).

Указав на немецкую классическую философию, главным образом Шеллинга, как основание эстетических суждений Надеждина, Чернышевский, между тем, оставляет вне поля зрения русские источники формирования его эстетики, не учитывая всей полноты конкретно-исторических идейных влияний, образовавших Надеждина: «Немецкая философия, питомцем которой он был, неизвестна была никому» (3, 157). Чернышевский настаивает на исключительности линии Надеждина в русской критике до прихода в нее Белинского. Если вспомнить, что к концу двадцатых годов (а начало литературной деятельности Надеждина — это 1828 год) шеллингианская философия и ее идеи в искусстве имели уже свою традицию в русской критике, станет очевидна избирательность его суждений[3].

Чернышевский по-своему принимает во внимание историю русского шеллингианства. И в его концепции немецкое направление имеет определенные истоки. Характерно при этом, кого именно выбирает Чернышевский в «предшественники» Надеждину: это Д. В. Веневитинов, который «умер, едва сказав первое свое слово» (Чернышевский высоко ценил его творчество как поэта мысли и критика, стремившегося привить глубокое содержание и русской поэзии, и литературе в целом), это представители демократического лагеря в науке — Фесслер, Д. М. Велланский, И. Я. Кронеберг, М. Г. Павлов — и, наконец, люди духовного звания — митрополит Филарет и протоиерей Голубинский.

Достаточно широкий круг имен, упомянутых Чернышевским, остается, между тем, лишь перечнем лиц, знакомых с философией Шеллинга, — о русском шеллингианстве до Надеждина он не пишет. Эта точка зрения дает Чернышевскому основание для объяснения причин столь долгого непонимания

---

[3] История распространения идей философии Шеллинга на русской почве не раз привлекала внимание исследователей. В связи с этим см.: Веселовский А. Западное влияние в новой русской литературе. М., 1893; Бобров Е. Философия в России. Казань, 1899, вып. 2; Бобров Е. Литература и просвещение в России XIX в. Казань, 1902, т. 2; Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. М., 1913, т. I, ч. 1—2; Ковалевский М. Шеллингианство и гегельянство в России. (К истории немецких культурных влияний). — Вестник Европы, 1915, кн. II, ноябрь; Каменский З. А. Ф. Шеллинг в русской философии начала XIX века. — Вестник истории мировой культуры, 1960, № 6; Манн Ю. Русская философская эстетика. М., 1969; Сахаров В. И. О бытовании шеллингианских идей в русской литературе. — В кн.: Контекст-77. М., 1978.

современниками заслуг Надеждина. Несмотря на глубокую истинность его суждений, основанных на идеях немецкой философии, деятельность Надеждина не могла быть оценена по достоинству в свое время — он «явился слишком рано для публики» и оставался одинок, «несколькими годами опередив поколение, которое должно было понять его» (3, 157).

Не учитывает Чернышевский в своей критической концепции и деятельности «Московского вестника» (1827—1830), которому принадлежит ведущее место среди русских источников осмысления шеллингианской философии, способствовавших развитию критической мысли Надеждина[4]. Известно, что Надеждин сотрудничал некоторое время в этом журнале, с редактором которого его связывали и личные тесные отношения.

Вероятно, Чернышевский не прошел мимо того факта, что «Московский вестник» в силу ряда причин не получил признания публики, — журнал так и не был ориентирован на широкий круг читателей, и его деятельность носила в известной мере замкнутый, отвлеченный характер именно из-за пристрастия к «немецкой метафизике», формировавшего не только его эстетическую, но во многом и художественную программу[5].

Немаловажную роль для оценки «Московского вестника» Чернышевским сыграло и то обстоятельство, что журнал был органом дворянской культуры, а Чернышевский уже с середины 50-х годов преимущественно стремился указать на преемственность демократической линии в русском просвещении, отделяя ее от дворянского периода русской культуры как

---

[4] Члены общества любомудрия, в основном образовавшие редакцию журнала, не были одиноки в своих устремлениях: даже неполный обзор русской критической литературы 1810—1820-х гг. свидетельствует, что проблема осмысления искусства как особого способа познания жизни искала себя в самостоятельных и переводных работах по эстетике, в статьях периодической печати, причем часто эти обсуждения выливались в длительную полемику между защитниками противоположных точек зрения.

Из периодических изданий наиболее часто материалы, отражавшие шеллингианские воззрения, появлялись, кроме «Мнемозины» (1824—1825) и «Атенея» (1828—1830), на страницах «Вестника Европы» (1802—1830), который, как указывал еще П. Сакулин, был «первым органом, где любомудрие нашло себе приют». Известно, что В. Ф. Одоевский отметил в «Мнемозине» важную заслугу этого журнала перед любомудрием (там, например, кроме И. И. Давыдова, печатались Д. М. Велланский, В. Ф. Одоевский, Н. М. Рожалин). Погодин вспоминал, что В. Ф. Одоевский еще пансионером приходил в восторг от статей Давыдова и «горячо благодарил руку, метавшую бисер».

Учитывая это, вполне допустимо предположить, что участие Надеждина в этом органе не было делом лишь случая или результатом тактических соображений, как это иногда предполагается.

[5] Об этом см. статьи В. Стратена «Д. В. Веневитинов и «Московский вестник» (Изв. ОРЯС, т. 29, Л., АН СССР, 1925) и Ф. З. Кануновой «А. С. Пушкин и «Московский вестник» (Уч. зап. Томск. ун-та, 1951, № 16).

этапа, давно ушедшего в прошлое[6]. История русской критики для Чернышевского — это прежде всего процесс демократизации ее идей, и, выявляя единство демократической тенденции, он ищет преемственные моменты развития, что «иногда существенно меняет конкретно-историческое соотнесение идей и явлений».

Русские шеллингианцы с готовностью усвоили центральное положение эстетики Шеллинга, определившего искусство как «идею», воплощенную в конкретно-чувственной форме, и тем отделившего искусство от философии, которая выражает идею в форме логически отвлеченных понятий[7]. Чернышевский, конечно же, видел это одно из наиболее ценных завоеваний шеллингианской эстетики, обосновавшей условность художественного произведения, тезис, который затем будет развит Гегелем, а далее переработан и усвоен — уже на материалистической основе — марксистской философией. Известное замечание Ленина, что «искусство не требует признания его произведений за действительность», было направлено к изучению познавательной специфики искусства, в котором «природа предмета... не должна отождествляться с природой мысли»: относительная самостоятельность мысли — необходимое условие процесса познания.

История эстетической мысли проясняет особое место, принадлежащее в русской эстетике Надеждину. Для Надеждина важна была заявленная шеллингианской философией потребность в осознании жизни: бытие не несет мысли о самом себе и нуждается в том, чтобы быть понятым со стороны человеческого разума, — лишь постигнув закономерности жизни («Одиссею духа»), человек может раскрыть ее тайну. В этом, по Шеллингу, как известно, и состоит особое призвание искусства, в котором совершается самосозерцание абсолюта[8]. По-

[6] Хотя не весь круг лиц, стоявших близко к редакции «Московского вестника», подвергся молчаливому забвению. Как просветитель высоко оценивая роль знания (в самом широком смысле слова) в общественном развитии, Чернышевский особо выделяет имена Веневитинова и Киреевского — людей, чья деятельность оказала важные услуги русскому просвещению. Положительно отозвался Чернышевский и о деятельности Погодина-историка.

[7] В работах современных исследователей это рациональное зерно эстетики Шеллинга не прояснено в достаточной мере в его направленности к современности и не вошло в этом качестве в активное научное сознание, что не всегда позволяет увидеть корень литературно-критической полемики того времени и приводит в ряде случаев к спорным выводам из верных, казалось бы, посылок (см., например, предисловие к «Философии искусства» (М., 1966), «Эстетическая концепция Шеллинга и немецкий романтизм» (с. 32), а также содержательное исследование Н. Решидовой «А. С. Пушкин и эстетическая позиция журнала «Московский вестник» (Вопр. романтизма, Калинин, 1974, с. 31—32).

[8] Для выяснения исторической перспективы формирования эстетических понятий плодотворно замечание К. Фишера, указывавшего, что в эстетической системе Шеллинга отношение искусства к действительности не может рассматриваться как отношение копии к оригиналу: оно есть

казательно, что Надеждину оказалось особенно близко именно это представление Шеллинга о высоком назначении искусства, обусловленном самой его природой: уловить и сделать осязательной для нашего взора гармоническую целостность универсума как вечной красоты и истины. Эстетическое есть свойство самой жизни, оно создается не человеческим суждением, а открывается интеллектуальному созерцанию гения. Шеллингианство Надеждина исторически конкретно отражало как сильные, так и слабые стороны романтической философии искусства.

Хотя со времени первого выступления критика мысль, что поэзия не может ограничиваться «невольническою обязанностью снимать бедные сколки с природы», стала уже общим местом литературной теории (во многом благодаря критической работе «Московского вестника»), защита ее, тем не менее, не утратила своей актуальности, и Чернышевский высоко ценил эту сторону критической деятельности Надеждина (см. первые его суждения о Надеждине в статьях о Пушкине).

Для Надеждина особое назначение искусства состоит именно в постижении закономерностей жизни, ее «идеи»: оно «разоблачает жизнь до сокровеннейших ее глубин, и для всех явлений ее, слитно, одними согласными буквами мелькающих пред простым зрением, отыскивает гласные, с помощью коих можно сложить и выговорить их смысл, назвать каждое из них по имени»[9]. Отстаивая это высокое назначение искусства, критик в своих лекциях по эстетике особо подчеркивает среди других необходимых условий гармонии идеи и формы важность сохранения двойственной природы художественного образа: «Последним отрицательным условием соединения идеи с формой надо признать «определенность», уничтожающую «двузнаменательность», или «двусмысленность явления»[10]. В художественном произведении всегда должен ощущаться «второй план» — «идея», которая как бы просвечивает сквозь форму.

Однако мысль об условной природе искусства — не «сколке» природы, а инструменте ее познания — у Надеждина преломлялась несколько однозначно: понимание им искусства как осмысления жизни все-таки ближе к «зеркальному» отражению. Активная роль субъекта в познании эстетического, роль авторской мысли, стремящейся в возможно большей мере постигнуть объективные истины бытия, в его концепции все еще

«гениальное восстановление первообразов, не копия, а «противообраз» (реальная противоположность идеального — Л. Б.) божественной идеи, не шаг назад в сравнении с природой, а завершение и высшая потенция ее» (Фишер К. История новой философии. Спб., 1905, т. 7, с. 573).

[9] Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972, с. 389.

[10] Цит. по кн.: Козмин Н. К. Н. И. Надеждин. Жизнь и научно-литературная деятельность. 1804—1836. Спб, 1912, с. 327.

мала. Природа и жизнь в шеллингианской философии есть воплощение мирового разума; «идея», таким образом, изначально лежит в самой действительности, переходя в явления; «вторичность» задачи художника этим как бы предопределена и состоит в том, чтобы «назвать» идею, приобщиться к ней в ее объективированном бытии. Как видим, здесь возможно большая степень приближения к действительности является залогом ее истинного постижения. В этом соотнесении искусства с жизнью еще следовало найти самостоятельную роль субъекта, «воссоздающего» жизнь, а не повторяющего ее.

Надеждин еще находил возможным судить о художественном персонаже как о реальном человеке или высказывать свои замечания по поводу несоблюдения автором «верности жизни» в конкретных деталях, когда сталкивался с теми свойствами искусства, которые обнаруживали его условную природу [11]. Условная природа искусства признавалась Надеждиным пока лишь в определенной мере и не отменяла требований правдоподобия. Так надеждинские суждения об искусстве, которое представляет «жизнь в ее совершенном равенстве с собой», и о художественном произведении как всегда искусственно устроенном зеркале, сообразно с предложенною идеей, оказывались различными гранями целостной эстетической концепции [12].

Нельзя не заметить, что принцип условной природы искусства теоретиками «Московского вестника» выдержан последовательнее и глубже, нежели это было воспринято Надеждиным.

Так, он прошел мимо того, что составляло пафос любомудров, прежде всего стремившихся оттолкнуться от теории подражания природе. «Несправедливо, будто бы одна из главнейших целей изящных искусств состоит в обмане (illusione), т. е. в заставлении нас почитать предметы, изображенные искусством, действительно существующими» [13]. Стремясь наглядно обнаружить несостоятельность требования «все, как в жизни», В. Одоевский берется показать ничтожность результатов, которые были бы получены, начни мы руководствоваться этим принципом в практическом творчестве. Тогда, рассуждает критик, нужно признать, что «совершеннейшее представление живой, совершеннейшей красавицы» — высшего дара природы — «будет вместе и изящнейшим произведением ис-

[11] См., например, статьи Надеждина о «Борисе Годунове» и «Полтаве» Пушкина.

[12] Думается, что замечание Ю. В. Манна о своеобразном «натурализме», присущем литературной теории Надеждина, является не совсем оправданным. Обращение к особенностям понимания условности искусства в эстетике Надеждина дает возможность заключить, что природа пристального внимания к деталям конкретного у Надеждина, как очевидно, принципиально иная.

[13] Московский вестник, 1827, ч. IV, № 16, с. 415.

кусства». Но если считать прекрасным творением именно то, которое сможет представить природу во всем ее совершенстве, тогда, как очевидно, пришлось бы оставить скульптуру, живопись (тем более музыку, драму и стихотворный язык) и заняться усовершенствованием раскрашенных автоматов — поскольку лишь «автомат, один автомат удовлетворяет сему требованию!» [14].

Основа эстетического — «не в видимой внешней природе», а в духовной деятельности человека, оно — произведение мысли, в которой «ясно сияет вся гордость человеческой самобытности!».

Что же скрыло от Надеждина важность этого и подобных рассуждений любомудров, так часто развивавшихся на страницах «Московского вестника»?

Видимо, крайне отрицательное отношение к романтизму как к мировоззрению привело Надеждина к тому, что, осуждая авторский субъективизм, он прошел и мимо чрезвычайно плодотворных моментов, содержащихся в литературной практике романтиков, — их внимания к самостоятельности человеческого духа. Именно романтики в художественной практике и в теории отстаивали идею относительной свободы творца по отношению к объекту художественного творчества, а это, в свою очередь, способствовало расширению границ понятия содержательности искусства, признанию многозначности и неисчерпаемости его образного языка. Не случайно именно любомудров отличало широкое понимание условности, впоследствии надолго утраченное русской критической мыслью: «Истина в искусстве и истина в природе совершенно различны», и чтобы приблизиться к истине в искусстве, «художник совсем не должен списывать своих произведений с произведений природы» [15].

Важно понять эти и подобные рассуждения не как результат стремления развести и противопоставить правду искусства и правду жизни — подобные примеры в романтизме также имелись, — но как указание на единственно возможный для художника путь к глубокому освоению жизни. В этом относительном «отделении» искусства от жизни крылся, как известно, качественный переход от познания явления к познанию закона.

Идеалистическое по своему существу и форме понимание соотношения искусства и жизни впервые улавливало диалектическое единство закона и явления. «Оно выше естества, хотя и вне его», — говорилось об искусстве, и эта формула содержала чрезвычайно плодотворный момент: она способствовала осмыслению активно-познавательной роли литературы

---

[14] Там же, с. 417—418.

[15] Московский вестник, 1827, ч. II, № 8, с. 341.

в жизни общества. «Совокупите в одно явление рассеянные предметы, — самым простым из них дайте значение и важность — и это явление станет выше естества»: само явление жизни, когда оно предстает перед нами в произведении искусства, заключает в себе направляющую авторскую мысль. Истинный ценитель постигает замысел художника уже в самом выборе и в соотнесении предметов.

Именно внимание к диалектичности процесса познания, заключающейся в необходимости отойти от «видимости» жизни, чтобы тем вернее постигнуть ее духовную сущность, вырабатывало в эстетике любомудров основы понимания органической целостности эстетического и чисто познавательного начал в искусстве.

Философской основой намечавшегося нового плодотворного осмысления назначения искусства, во многом близкого реалистической эстетике, явилось, по-видимому, влияние философии Гегеля, принесшей, как известно, принципиально иное представление о действительности: устранение идеи двоемирия открывало бóльший простор развитию диалектики самого процесса познания.

Новое философское миропонимание открывало, по сравнению с шеллингианской эстетикой, возможность не только для более глубокого осмысления условной природы искусства, но и самого предмета художественного творчества.

Решение этой проблемы в эстетической концепции «Московского вестника» шло, в основном, по двум направлениям.

Одно из них, представленное наиболее полно статьями Шевырева, развивало традиции шеллингианской эстетики, тогда как другое, приближавшееся к гегелевскому, подготавливало реалистическое понимание предмета искусства. Теория эстетического познания, возникшая в идеалистической немецкой эстетике, давала реализму определенные предпосылки. Эта вторая тенденция сложно преломлялась и в позиции Надеждина, в самом характере освоения им идей шеллингианской эстетики.

Надеждин отразил в своем понимании «целого» все плюсы и минусы шеллингианской концепции гармоничного искусства. «Плюсы» касались прежде всего выработки идеи объективности художественного образа. Защищалась плодотворная мысль о том, что искусство воспроизводит целостность мира в его гармоничности и нераздельной полноте, где настоящее — представитель прошедшего и предвестник будущего[16]. Это способствовало осмыслению искусства как особой формы познания жизни.

Нельзя не заметить, что Надеждин многому научился у теоретиков «Московского вестника» — идея условности ис-

[16] См.: Московский вестник, 1828, ч. IX, № 10, с. 159.

кусства как средства познания нашла в нем самого горячего защитника. Показательно, что принцип объективности художественного творчества направлен у него не только против романтического субъективизма. Содержание этого принципа в эстетике Надеждина шире. Борясь за идейность литературы, он счел необходимым особо остановиться на важности художественного воспроизведения жизни, свободного от авторского априоризма и диктата. Смысл жизни должен быть найден в ней самой, а не привноситься в виде любимой авторской мысли: художественное произведение не может рассматриваться как решение некоей умственной задачи с помощью жизненных явлений, выступающих при этом в виде внешнего средства выражения идеи. Объективность искусства мыслилась как атрибут самого образного мышления.

Подобные суждения Надеждина могут служить частным примером того, как принципы реалистической эстетики находили свое подтверждение и в известной мере подготавливались эстетикой идеалистической философии, в частности некоторыми общими положениями теории познания.

Между тем, понимание мира как целого в его абсолютной гармоничности, справедливости и разумной целенаправленности неверно было бы рассматривать только как обретение теоретической мысли. В этой же формуле крылась и своя опасность схематизации живого процесса познания.

Современная поэзия в статьях Шевырева разделяется, соответственно идеалистической эстетике, на два противоположных направления[17]. Признавая их равное право на существование, Шевырев тем не менее отказывает поэзии, имеющей своим предметом главным образом «мир внешний», в высокой идее.

Нетрудно уловить общую направленность его рассуждений: идея художественного произведения, сообщающая ему внутреннее органическое единство, понимается здесь обязательно как идея, знаменующая собой «возвышенность над обыкновенным кругом явлений». И такое единство Шевырев находит в произведениях Байрона («Гяур», «Манфред»). Перед нами именно та регламентация, которая «высокое» отделяет слишком резкой чертой от мира обычных жизненных отношений. Вспомним, что поэзию Пушкина, за исключением романтических произведений, Шевырев относил к области искусства, схватывающей «мир внешний» и не имеющей силы возвышенных устремлений. Несмотря на различную конкретную оценку творчества Байрона и шире — романтизма, в понимании «идеи» искусства и особенно в истолковании приро-

---

[17] Об этом подробнее см.: Манн Ю. Русская философская эстетика, с. 159—163.

ды «высокого» у Надеждина и Шевырева окажется много общего.

Что касается предмета искусства, то в эстетике Шевырева он понят уже, чем у Надеждина. Это особенно сказалось в подходе Шевырева к творчеству Гоголя.

Среди парадоксов, опубликованных в разделе «Теории изящных искусств», было и соображение Одоевского о двух условиях, которые, помимо таланта, составляют великого художника: это «уверенность, что он сам рожден для своего искусства, и равная уверенность, что все может быть предметом его искусства».

Обращает на себя внимание пафос действительной жизни, который несомненно присутствует в высказываниях Одоевского. Он постоянно подчеркивает преимущества «живой истины» — поэзия, способная охватить жизнь в ее полноте, в высоких и низких ее проявлениях, здесь противостоит эстетическим умозрениям, в которых произведение искусства измерялось соотнесением с априорной идеей «справедливости» и «истины», осуществляющихся в процессе мирового развития[18]. Однако преодолеть до конца разрыв между областью «высокого» и повседневного представителям так называемой «философской эстетики» не удалось.

Только историческая критика эстетики Шеллинга, проведенная в философской системе Гегеля, как известно, устранила идею двоемирия, заложив новые основы уважения к «действительности», как скажет Чернышевский, и усилила пристальный интерес и внимание человеческого разума к «жизни, как она есть».

Чернышевский признал, что Надеждин не остался вне новых веяний времени, указав на сложное переплетение прежних философских взглядов с наметившимся движением к новому, которое самим критиком было определено как «потребность общего духа современной жизни»[19]: «в сущности оставаясь учеником Шеллинга», «он пошел далее Шеллинга и приблизился, силою самостоятельного мышления, к Гегелю, которого, как по всему видно, не изучал» (3, 159).

---

[18] Примечателен тот факт, что на страницах «Московского вестника» нашел высокую оценку роман Сервантеса «Дон-Кихот» как произведение, сумевшее возвысить до поэзии «прозаическое изображение обыкновенной жизни», и пушкинский «Евгений Онегин», на принципиальную новизну оценки которого Веневитиновым в сравнении с философской эстетикой указал Ю. В. Манн.

[19] «Мы не потворствуем и не враждуем с действительностью; но, изведавши ее тысячелетними наблюдениями, допытываем у ней строго все сокровенные ее тайны и распоряжаемся ими полновластно, для определения наших идей и достижения наших целей; равным образом не чуждаемся и не увлекаемся игрою понятий, но, наученные вековыми опытами, поверяем созидаемые нами системы на оселке действительности» (Надеждин Н. И. О современном направлении изящных искусств. М., 1833, с. 46).

Это была первая, строго выдержанная историко-философская оценка Надеждина как предшественника Белинского. Оценка, принятая и современной наукой.

Начиная с 30-х годов, Надеждин не уставал повторять, что характерная черта современной жизни — стремление к всеобщности, к соединению двух крайностей: гармонии вещества и духа (суждение, на первый взгляд, совершенно гегелевское).

Мысль Надеждина о синтезе несомненно подводила в эстетике к расширению понятия «предмета» искусства: указав, что поэзия теперь должна представить «полное развитие полной жизни», Надеждин требует от нее того всеобъемлющего взгляда, который уравнивает в глазах гения «все черты, из коих слагается физиономия бытия, внушает ему нелицеприятное беспристрастие ко всем формам, коими оно облекается». Нисхождение искусства «в круг обыкновенных явлений» не будет «унижать» его, как это было в предыдущие периоды развития. «Девиз» этой новой поэзии есть истина.

Надеждинские рассуждения в этом тезисе наиболее близки реалистической эстетике, особенно указание на новый эстетический идеал. Именно пафос действительности, пронизывающий все наиболее существенные выступления критика, начиная с его диссертации, провозгласившей своим тезисом известное положение: ubi vita, ibi poësis, по всей вероятности, дал основание сказать Чернышевскому, что Надеждин силою самостоятельного мышления приблизился к Гегелю.

Вместе с тем, само философское миропонимание критика находило выражение и в его литературных пристрастиях и обусловило тот факт, что эстетические воззрения Надеждина носили ярко выраженный переходный характер — «родимые пятна» шеллингианской философии. Призывая к гармонии «вещества и духа», он, тем не менее, не склонен был придавать ей изначальный абсолютный характер, признавая это тождество лишь завершающей, третьей ступенью развития абсолютной идеи. На практике, в конкретных оценках это приводило к вынесению идеала за рамки конкретной действительности и идеалистическому пониманию истины. Провиденциальный взгляд на историю, понимание противоречий лишь как явлений, подрывающих общий порядок бытия и, в конечном итоге, как результат нашей низкой точки зрения[20] не могли не формировать эстетических суждений критика при оценке истинности понимания жизни тем или иным художником.

[20] Как очевидно, само понимание гармонии Надеждиным носило недиалектичный характер — не как единство и взаимообусловленность противоречий (что пришло в философию с Гегелем), а как абсолютное тождество.

Случайное, «презренная проза» — все «мелочи» и «грязь» жизни — имеют право войти в поэзию, но лишь как часть, в своем соотнесении с целым — художник обязательно должен произнести свой высокий суд над ними[21]. В представлении Надеждина идея художественного произведения необходимым условием истины должна нести в себе элемент «высокого», понятого как память о всеобщей идее. Именно с понятием «возвышенного» для Надеждина связывалось представление об искусстве как таковом; условность же в широком смысле чаще воспринималась им как проявление романтического субъективизма.

Исторические особенности материалистической эстетики Чернышевского (закрыв и рациональное начало идеалистической категории возвышенного) в свою очередь позволили ему сосредоточиться на ограниченности эстетической теории Надеждина по сравнению с критикой гоголевского периода, им подготовленной. Но, отметив «лживость экзальтированного взгляда на жизнь», присущего догегелевской философии в целом, Чернышевский объективно поставил ее у Надеждина в прямую зависимость от ограниченного понимания предмета искусства, именно здесь находя относительные моменты развития, что в этом пункте несколько сужало эстетическую платформу Надеждина: «Надеждин слишком наклонен был искать поэзию в одном только возвышенном, далеко превышающем явления обыкновенной действительности» (3, 188).

В подобных суждениях Чернышевского проявились как сильные, так и слабые стороны его мировоззрения. Недостаточное внимание к действенной стороне познания, свойственное, как известно, в ряде выводов и домарксовскому материализму Чернышевского, объективно вносило общие в этом отношении с надеждинскими границы в понимание идейной содержательности художественного произведения. Это сказалось, например, в том, что Чернышевский полностью разделил пафос критического отношения Надеждина к романтизму, согласился с надеждинской оценкой творчества Пушкина. Не принял Чернышевский и заслуг «Московского вестника».

---

[21] Небезынтересна в связи с этим оценка Надеждиным современной ему французской литературы: он осуждает ее не столько за пристрастие к изображению низкого и безнравственного, сколько за то, что это «уродливое» представлено без должного освещения: если бы «реализм, господствующий ныне во Франции», «одержал решительный верх», то «на другой день, после неоспоримого удостоверения в его победе, нельзя было бы верить ни в Бога, ни в достоинство души, ибо мир, который сия поэзия развивает перед нашими глазами, есть мир без промысла и свободы...»

С другой стороны, Чернышевский, конечно, не случайно выбрал Надеждина как центральную фигуру критики 20—30-х годов. Ему важно было поддержать самое ценное в эстетических суждениях критика — мысль об объективном критерии искусства. Именно здесь Чернышевский справедливо усматривал непосредственные связи с критикой гоголевского периода. Это позволило Чернышевскому первому в истории русской критики поставить деятельность Надеждина в конкретно-историческую связь с развитием русской философии и тем самым определить его место как предшественника Белинского в формировании русской эстетической мысли.

Н. А. ПОПКОВА

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ НАД СТРАНИЦАМИ «МОСКОВСКОГО ТЕЛЕГРАФА»

(Из полемики Чернышевского в статьях о Пушкине)

В полемическом составе статей Н. Г. Чернышевского о Пушкине[1] особое место принадлежит, как известно, цитациям из «Московского Телеграфа»[2]. В откликах идейных противников Чернышевского эти страницы воспринимались как покушение на славу Пушкина. Между тем они имели позитивный смысл, не понятый ни Ап. Григорьевым, ни А. Дружининым. В целом полемика в статьях Чернышевского о Пушкине не раз привлекала внимание исследователей[3], приемы же полемического цитирования не были предметом специального рассмотрения.

Чернышевский, пересматривая традиционное мнение о критике 30-х годов, которую считали неготовой к сколько-нибудь верному осмыслению творчества Пушкина[4], находит,

---

[1] Чернышевский Н. Г. Сочинения Пушкина с приложением материалов для его биографии, портрета, снимков с его почерка и его рисунков и проч. Издание П. В. Анненкова. Спб., 1855. Статья 1—4. — См. Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти т. Гослитиздат. М., 1939—1953, т. II, с. 424—516. В дальнейшем: Чернышевский, т. II.

[2] Московский Телеграф, издаваемый Н. Полевым, М., в Университетской типографии, ч. 1—55, 1825—1834. В дальнейшем — МТ.

[3] См.: Зельдович М. Г. Статьи Н. Г. Чернышевского о Пушкине в общественно-политической борьбе 50-х годов. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Изд-во Сарат. ун-та, 1965, вып. 4, с. 5—39; Макаровская Г. В. Комментарий в кн.: Н. Г. Чернышевский. Литературная критика. В 2-х т. М., 1981, т. 1. Мотольская Д. К. Работа Н. Г. Чернышевского над анненковскими материалами для биографии А. С. Пушкина. — Учен. зап. ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена, т. 245, 1963, с. 261—282.

[4] Напр., Белинский писал: «О нем (Пушкине. — Н. П.) мало сказано, хотя и много писано» и далее: «собственно романтическая критика

что критика Полевого «была вовсе не так поверхностна и пуста, как обыкновенно думают»[5], и делает первую попытку подойти к ней с исторической точки зрения. Противники Чернышевского апологетизировали Пушкина как «певца русской жизни», признавая, что пришло время назвать его поэтом европейским. В условиях надвигавшейся военной катастрофы официальная идеология всячески стремилась сохранить свою стабильность. Всякая попытка представить величие Пушкина как показатель успехов развития культуры под эгидой «самодержавия, православия и народности» приобретала охранительный характер. Показательно проводившееся М. Погодиным сравнение творческого подвига Пушкина с подвигами военных героев и отцов церкви[6]. Умиротворяющий характер поэзии Пушкина превозносили Ап. Григорьев и А. Дружинин, ставившие Пушкина в один ряд с Гомером, Данте, Шиллером[7]. Подобный взгляд господствовал в «академической» школе, в официозной критике[8]. Выступая против подобных мнений, опорой своих заключений Чернышевский делает материалы «Московского Телеграфа» о Пушкине, последовательно пересматривая их, по-своему трансформируя и усиливая. В центре внимания Чернышевского при этом находится проблема общественного мнения, вопрос о политической отсталости России, сказавшийся и на ее литературе, вследствие чего даже Пушкин не приобрел, по его мнению, европейского значения. Отметив «чрезвычайно благоприятный» характер отзывов «Московского Телеграфа» о Пушкине, Чернышевский бегло пересказывает статью Вяземского о «Цыганах»[9] и приводит его высказывание о едва уловимом

объявила Пушкина чуждым высших взглядов и отставшим от века». — См.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч., М., изд-во АН СССР, 1953—1959, т. VII, с. 300, 304. В дальнейшем: Белинский, т. VII. Ап. Григорьев спрашивал: «А что же такого фундаментального сделала старая критика? Совершен ли труд над Пушкиным как над поэтом общеевропейским? Познано ли значение его как поэта народного?» — См.: Григорьев Ап. Замечания об отношении современной критики к искусству. — Москвитянин, 1855, № 13 и 14, июль, кн. 1—2, с. 131—132.

[5] Чернышевский, т. II, с. 478.

[6] Погодин М. Новое издание Пушкина и Гоголя. — Москвитянин, 1855, № 12, кн 2, с. 1—4.

[7] Дружинин А. В. А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений. — В кн.: Дружинин А. В. Собр. соч., Спб., 1865, с. 30—82; Григорьев Ап. Замечания об отношении современной критики к искусству. — Москвитянин, 1855, № 13 и 14, июль, кн. 1—2, с. 105—148.

[8] Катков М. Н. Отзыв иностранца о Пушкине. Статья Варнгагена фон Энзе, пер. М. Н. Каткова. — Отечественные записки, 1839, т. 1, с. 2—4; Булич Н. Значение Пушкина в истории русской литературы. Речь, произнесенная... 9 октября 1855 г. Казань, 1855; Зеленецкий К. О художественно-национальном значении произведений Пушкина. Речь, читанная... 30 августа 1854 г. б. м., б. г.

[9] МТ, 1827, ч. 15, № 10, с. 111—122.

подражании Пушкина Байрону[10]. С этим Чернышевский не спорит, но в его понимании едва уловимое подобие Байрону было не признаком зрелости и оригинальности Пушкина, а свидетельством недостаточно развитого гражданского самосознания в России, в силу чего даже лучший ее поэт не мог иметь подобный Байрону мятежный дух. Из разбора VII главы «Евгения Онегина» и из двух статей «Московского Телеграфа» о «Борисе Годунове» выбраны только суждения об охлаждении публики к Пушкину. Здесь сосредоточен главный публицистический интерес Чернышевского. Пафос борьбы Полевого за демократизацию литературы, против дворянских сословных привилегий в области культуры был очень ярок и в 1855 году звучал как одна из первых страниц истории самосознания разночинца. Чернышевский не мог процитировать этих программных строк Полевого и прибег к особому приему — указал читателю первоисточник, обозначив выходные данные его статьи, перепечатку которой не пропустила бы цензура[11]. В том же идейном свете подаются Чернышевским все материалы полемики «Литературной Газеты» и «Московского Телеграфа». Он упоминает об эпиграммах на Пушкина, Дельвига, Баратынского из «Московского Телеграфа», одновременно отмечая «деликатность и умеренный тон» статей Полевого, и подчеркивает сословную заносчивость литераторов «пушкинской группы», ссылаясь в особенности на «Отрывок из письма к А. И. Г<отовцевой>» Вяземского, где нетерпимость к разночинцам в литературе выражалась в открыто раздражительном тоне[12]. Кратко пересказывая разбор Кс. Полевым «Полтавы», Чернышевский рассматривает и комментирует его избирательно. Он исключает рассуждения о «гигантском подвиге» Пушкина, вставшего на самостоятельный путь развития, о «шекспиризме» Пушкина. Сказать вслед за Кс. Полевым, что в «Полтаве» Пушкин «оживил каждое положение, каждую речь русским духом» и поэтому поэма стала «новым родом поэзии, извлекаемым из русского взгляда Пушкина на предметы»[13], зна-

[10] Тема соотнесения русской жизни и литературы с общественной жизнью и литературой Англии постоянна на страницах «Московского Телеграфа». — См. напр.: МТ, 1827, ч. 13, № 1, с. 237, ч. 15, № 11, с. 237. Поэтому сравнение «эмблемы нашего века Байрона» и «драгоценнейшей надежды русского Парнаса», а позже «гения» Пушкина — закономерно, служит в «Московском Телеграфе» средством многообразных характеристик творчества русского поэта.

[11] Чернышевский, т. II, с. 480. Указывая выходные данные, Чернышевский допускает неточности. Он пишет, что в последней, 32 части «Московского Телеграфа» за 1830 г. помещены едва ли не все основные критические материалы о Пушкине. На самом деле последней частью за 1830 г. является часть 36. Разбор «Бориса Годунова» (рецензия и две части статьи) находится в части 37 за 1831 г. и в части 49 за 1833 г.).

[12] Денница. Альманах на 1830 г., с. 133—134.

[13] МТ, 1829, ч. 27, № 10, с. 234.

чит отметить, по мнению Чернышевского, не достоинства, а недостатки Пушкина. Углубление в русскую специфику в свете славянофильских выступлений «Москвитянина» воспринималось Чернышевским как отказ от европейской проблематики, т. е. от освободительных идей. «Шекспиризм» он понимал как синоним «холодности» и «объективизма». Глубокое замечание Кс. Полевого, что «Пушкин понял Шекспира как высокий поэт: не стал ему подражать, но угадал в Шекспире основные элементы исторической его трагедии — открыл их и в русском мире»[14], было предвосхищением последующего плодотворного изучения историзма Пушкина. Чернышевский же видит здесь указание на истинную причину охлаждения читателей к Пушкину и сразу обращается к рассуждению Кс. Полевого о естественности холодного приема публикой «Полтавы». Ход мыслей Полевого таков: воспитанная на поэзии Байрона, русская публика продолжает ждать от Пушкина привычных идей и форм и не готова воспринять новую поэму; поэт вырос, и публика от него отстала, в этом причина их взаимного отчуждения. «Это естественно, красоты ее (поэмы. — *Н. П.*) слишком новы для русского читателя»,— заключает Кс. Полевой[15]. Чернышевский оценивает ситуацию иначе. Для него решающее значение имеет факт отхода Пушкина от «живого направления, касающегося общественных интересов», т. е. байроновского направления, к «холодной художественности», т. е. к «шекспировскому спокойствию». Признавая, что новая поэма «в тысячу раз выше прежних», он не отменяет своего главного вывода: как бы успешно ни совершенствовался поэт, если он уходит от живых общественных интересов, равнодушие публики неминуемо. При этом Чернышевский находит у Кс. Полевого ссылку, чрезвычайно его заинтересовавшую, на малозначительные, по мнению Полевого, забытые, но в свое время выражавшие настроения передовой молодежи, «вольные» стихи Пушкина. В подцензурных условиях пересказ этой нейтральной ссылки, когда речь шла о связи с декабристами, превращался у Чернышевского в постановку серьезнейшей проблемы изучения связи поэта с идеями декабристов[16]. Способ напоминания об этом эпизоде станет очевиден при воспроизведении сделанного Чернышевским пересказа: «Можно утвердительно сказать, что имя Пушкина всего более сделалось известно в

---

[14] МТ, 1829, ч. 27, № 10, с. 231—232. Здесь Кс. Полевой упоминает об отрывках из «Бориса Годунова», по которым он судит о трагедии как «переходе к тому идеалу, который уже выразительнее совершен в «Полтаве».

[15] Там же, с. 235.

[16] См. напр.: Вацуро В. Э., Мейлах Б. С. Пушкин и деятельность тайных обществ. — В кн.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.—Л., Наука, 1966, ч. 2, гл. 2, с. 168—197; Эйдельман Н. Пушкин и декабристы. Из истории взаимоотношений. М., 1979.

России по некоторым его мелким стихотворениям, ныне забытым (?), но в свое время ходившим по рукам во множестве списков» (с. 227—228) — факт, ныне забытый в свою очередь, но очень важный»[17]. Знак вопроса после слова «забытым» утверждал, что по их значимости «мелкие стихотворения» — т. е. вольные стихи — не могут быть забыты, а приведенные страницы являлись напоминанием читателю о первоисточнике, приглашением перелистать цитируемую статью. Намекая на декабристов, Чернышевский мог в условиях подцензурной печати яснее высказаться о содержании «вольных» стихов, сказав, что Пушкин идет здесь за протестующей поэзией Байрона. Заметим, что самое имя Байрона имеет у Чернышевского не столько конкретно-историческое, сколько обобщенное, символическое значение. С этим именем он связывает общее представление об идее свободы, о призыве к протесту против недостойных человека условий жизни. Различия творческой индивидуальности Байрона и Пушкина во внимание Чернышевским не принимались[18]. Обращаясь к разбору VII главы «Евгения Онегина»[19], Чернышевский был вынужден опустить иносказание Полевого о «мертвых полях» русской поэзии, подобных мертвым полям Британии, где когда-то обитали только Скоты и Бриты и где теперь кипит бурная политическая жизнь. Он не мог прибегнуть к рассуждению Полевого о «наших Скотах и Британах», т. е. о неразвитой в политическом отношении жизни России и о влиянии этих неразвитых общественных отношений на всякого русского поэта, в том числе и на Пушкина. Но смысл иносказания он до читателя довел, сведя намеки Полевого в одну фразу: «Мы еще дети и в гражданском быту и в поэтических ощущениях, и потому-то Пушкин кажется так слаб в сравнении с Байроном»[20]. Заключительная часть разбора, где высказана убежденность, что Пушкин станет «высоким, оригинальным поэтом»[21], Чернышевским опущена, так как для него более важен факт, что «высоты Байроновских ощущений» для Пушкина остались недостижимы вследствие политической отсталости России. Желая привлечь особое внимание читателя к статье Полевого, он прибегает к недомолвке-намеку: «блестящий талант Пушкина запутался среди отношений, не благоприятствующих его развитию...»[22], полагая, что всякий, кто ищет новых сведений о Пушкине,

[17] Чернышевский, т. II, с. 488.

[18] Ср. напр., рассуждения Белинского о том, что если поэт «только верен своей натуре, то за это его также нельзя хвалить или порицать, как одного нельзя хвалить или порицать за то, что у него черные, а не русые волосы...» — Белинский, т. VII, с. 338.

[19] МТ, 1830, ч. 32, № 6, с. 238—243.

[20] Чернышевский, т. II, с. 489.

[21] МТ, 1830, ч. 32, № 6, с. 243.

[22] Чернышевский, т. II, с. 480.

пойдет по указанному им пути. Полемическая цель определяет избирательный интерес Чернышевского и при обращениях его к отзывам Полевого о «Борисе Годунове». Он выбирает короткую информативную рецензию, найдя здесь замечание, отвечающее общему направлению его мысли[23]. Полевой писал о необходимости двух точек зрения на «Бориса Годунова»: как произведение русского автора оно должно расцениваться очень высоко, и Пушкин «становится им... выше всех современных русских поэтов»; а как произведение европейского поэта «Борис Годунов» не удовлетворяет нас»[24]. Обстоятельную статью Полевого о «Борисе Годунове» 1833 года[25] Чернышевский обходит молчанием, и не случайно. Судя о «Борисе Годунове» по законам романтической драмы и найдя, что творение Пушкина ниже европейских образцов, Полевой все же считал его величайшим явлением русской литературы. С этим мнением Чернышевский согласиться не мог. Трагедия «Борис Годунов» с заложенными в ней принципами историзма открывала пути к творчеству Пушкина 30-х годов, и признать, подобно Полевому, что в нем заключен «весь Пушкин», значило одновременно признать интенсивность развития поэта в 30-е годы, согласиться, что смерть оборвала новое творческое его восхождение, что еще не все в наследии Пушкина освоено. Между тем, Чернышевский поддерживал противоположную мысль Белинского, что непревзойденной вершиной для Пушкина остался «Евгений Онегин». Недооценка Белинским творчества Пушкина 30-х годов имела свою полемическую цель: признавая заслуги автора «Евгения Онегина», вместе с тем он отстаивал мысль о принадлежности Пушкина к «школе искусства, которой пора уже миновала...»[26]. Чернышевский этот вывод разделял, и подробный разбор трагедии для него не представлял принципиального интереса, ибо самое существенное, с его точки зрения, уже было сказано в кратком отзыве: как русская драма «Борис Годунов» — большое достижение, как европейская — лишь первый опыт.

Бегло упомянув отзывы «Московского Телеграфа» о «Бесах», «Моцарте и Сальери», последней главе «Евгения Онегина», Чернышевский делает выписку из отзыва «Стихотворения Александра Пушкина. Третья часть. Спб., 1832»[27], снова прибегая к усеченной цитации. Опустив главную часть статьи — исследование причин расхождения интересов публики и поэта, Чернышевский заканчивает констатацией угасания популярности Пушкина: «событие неоспоримо». Между

[23] МТ, 1831, ч. 37, № 2, с. 244—246.
[24] Там же, с. 245.
[25] МТ, 1833, ч. 49, № 1, с. 117—147, № 2, с. 289—327.
[26] Белинский, т. VII, с. 344.
[27] МТ, 1832, ч. 43, № 4, с. 566—568.

тем, в тексте «Московского Телеграфа» читаем: «событие неоспоримо: надобно исследовать причины оного и это-то хотим мы исполнить»[28]. В качестве итога Чернышевский берет выдержку из рецензии, посвященной не Пушкину, где между прочим отмечалось, что Пушкин становится все более самобытным, тогда как «о последователях его ни об одном еще нельзя сказать этого»[29]. Здесь Чернышевский прервал цитирование, опуская следующее заключение рецензента: «Пушкиных и везде немного: это гений»[30]. Ясно, что Чернышевский метил в современных ему литераторов, считавших себя продолжателями традиций Пушкина. Критика «Московского Телеграфа», оценивающая произведения Пушкина «не голословно, не пошло, не мелочно»[31], для Чернышевского имеет значение как первая ступень серьезного изучения поэта, «как приготовление к критике» — критике Белинского, имеет он в виду[32]. Чернышевский считал, что полемические приемы цитирования помогают яснее вычерчивать главную линию развития критики — к историзму и социальности, и был прав, утверждая социальный критерий оценки творчества Пушкина, хотя и применял его порой односторонне[33]. Об оценке им избирательного цитирования говорит его высказывание о Белинском. Отметив, что тот стремился судить о Пушкине «хладнокровно», Чернышевский тем не менее видит «чрезвычайно сильное сочувствие критики к поэту», «его стремление истолковать сколь возможно выгоднее для того или другого произведения смысл его»[34], и в Белинском выбирает «главное», усиливая некоторые его идеи, в чем-то их и упрощая, делая позицию Белинского порою более односторонней. Начатую цитацией Полевого мысль о важности выработать верный критерий понятий «национальный» поэт и поэт «европейский», Чернышевский реализовал до конца в четвертой статье, цитируя Белинского. Характеризуя его статьи о Пушкине, Чернышевский писал: «Многим на осно-

[28] Чернышевский, т. II, с 490. Ср. МТ, 1832, ч. 43, № 4, с. 567.

[29] МТ, 1829, ч. 26, № 5, с. 79. Чека. Уральская повесть. Соч. Ф. Алексеев. М., 1829.

[30] Там же. Ср. Чернышевский, т. II, с. 490. Цитируя, Чернышевский указывает с. 80 «Московского Телеграфа». См. о неточностях в нумерации частей на с. 4. Есть основания предположить, что неточность ссылок является приемом, с помощью которого Чернышевский побуждает читателя к самостоятельным поискам первоисточника. Недаром, заканчивая обзор отзывов «Московского Телеграфа» о Пушкине, он напоминает: «Каждый, кто потрудится перелистовать «Московский Телеграф»...» — См.: Чернышевский, т. II, с. 490.

[31] Чернышевский, т. II, с. 496.

[32] Чернышевский, т. II, с. 497.

[33] Сандомирская В. В. Пушкин в истории русской критики и литературоведения, гл. III, 50—60 годы. — Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.—Л., Наука, 1966, с. 55—59.

[34] Чернышевский, т. II, с. 499—500.

вании этих неточных воспоминаний представляется даже, будто бы критика ставила Пушкина одним из величайших мировых поэтов, равным Шекспиру в «Борисе Годунове», едва ли не выше Шиллера и Байрона»[35]. Опираясь на Белинского, Чернышевский вносит более суровую поправку в высказывания Полевого о Пушкине. «Согласно с «Телеграфом», до сих пор многие уверены, что натура великого поэта совершенно изменилась в 1825—1830 годах, что бесстрастный художник 1835 года был решительною противоположностью Пушкину 1823 года, который являлся русским Байроном, если не русским Андреем Шенье»[36]. Чернышевский к гражданственности «вольных» стихов Пушкина подходит с самой строгой мерой, сожалея, что эти настроения оказались у него не стойки. При этом он предлагает читателю контаминацию из нескольких высказываний Белинского. «Пушкина некогда сравнивали с Байроном»[37], — начинает Чернышевский, и далее выбирает характеристики, связанные с оценкой натуры Пушкина как «внутренней, созерцательной, художнической». Цитация завершается выпиской из статьи десятой[38]: «Первыми своими произведениями он (Пушкин. — *Н. П.*) прослыл на Руси за русского Байрона, за человека отрицания. Но ничего этого не бывало: невозможно предположить более антибайронической натуры, как натура Пушкина»[39]. У Белинского это звучит как похвала Пушкину, указание на творческую индивидуальность поэта, над которой не властны чуждые влияния. У Чернышевского эта выписка звучит как указание на сравнительную неполноту критического содержания творчества Пушкина. Приняв предложенное Белинским различие понятий «поэт народный» и «поэт национальный», Чернышевский считает, что говорить об эпитете «народный» в применении к Пушкину рано, поскольку русский народ «не знает ни одного своего поэта»[40]. Отказываясь, вслед за Белинским, от попыток дать «гадательное» определение русской «национальности», Чернышевский заключает, что говорить об этом означает «толковать о предметах, еще не имеющих фактического значения»[41]. В чем состоит «национальность»? — Чернышевский спрашивает, приводя цитату из Белинского: «В том, что Пушкин чувствовал и писал так, что его соотечественникам казалось, будто это

---

[35] Чернышевский, т. II, с. 498.
[36] Там же, т. II, с. 508.
[37] Там же. Ср.: Белинский, т. VII, с. 338—344.
[38] А не пятой, как указано Н. В. Богословским. — Чернышевский, т. II, с. 862, ссылка 13.
[39] Чернышевский, т. II, с. 508. Ср.: Белинский, т. VII, с. 524.
[40] Чернышевский, т. II, с. 507. Ср.: Белинский, т. VII, с. 333.
[41] Чернышевский, т. II, с. 508.

чувствуют и говорят они сами? Прекрасно! Да *как* же чувствуют и говорят они? Чем отличается их способ чувствовать и говорить от способа других наций? Вот вопросы...»[42] Подобное отличие, убежден Чернышевский, определяется прежде всего уровнем развития общественной жизни[43]. Именно будущее России, более высокое ее развитие покажет подлинное величие Пушкина: «Каково бы ни было безотносительное достоинство произведений Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя и современных нам русских писателей, но они еще милее для нас, как залог будущих торжеств нашего народа на поприще искусства, просвещения и гуманизма»[44]. Чернышевский, не отказываясь от мысли, что в Пушкине следует ценить «истинного отца нашей поэзии», ратовал за необходимость социально-исторического критерия в подходе к его творчеству. Обращение к материалам «Московского Телеграфа» имеет у Чернышевского многообразный смысл: он освещает положительные начала в критике Полевого и вводит их в научный оборот; находит реальные связи ее с критикой Белинского и развивает их в новых исторических условиях; делает критику «Московского Телеграфа» активной силой в борьбе за передовую литературу. Обращение Чернышевского к творчеству Пушкина через критику Полевого и Белинского в целом выводило читателя за пределы чисто литературных вопросов к проблемам общественно-политической жизни России.

---

[42] Чернышевский, т. II, с 508. Ср.: Белинский, т. VII, с. 336. По цензурным соображениям цитата оборвана. Далее шло: «на которые не может дать ответа настоящее, ибо Россия по преимуществу *страна будущего*». — Чернышевский, т. II, с. 862, ссылка 12.

[43] Ср.: «Пушкин слаб по сравнению с Байроном...» — МТ, 1830, ч. 32, № 6, с. 239—243; «Великие поэты... творятся обществом, т. е. историческим положением общества». — Белинский, т. VII, с. 267.

[44] Чернышевский, т. II, с. 498.

Л. Г. УСТИЧЕНКО

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ О ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ РУССКОЙ ПРОЗЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1850-х ГОДОВ

В ряде статей, рецензий и библиографических заметок первой половины 50-х годов Чернышевский, обращаясь к проблемам современной прозы, настойчиво указывает на общий ее порок, отмечая, что современные писатели тонут «в пучинах многословия», «в озерах пресных общих мест» (II, 467, 466) и вялого повторения знакомых тем и сюжетов.

В середине 50-х годов страницы периодики заполняются разнообразными вариантами характера «лишнего человека». Массовая прозаическая литературная продукция множит его образцы, без конца повторяя «знакомые черты, несомненно отнятые у первообраза, который господствует над общей фантазией»[1]. П. Анненков, критик внимательный и тонкий, отмечает, что «характер естественным образом распадается от раздела между производителями на множество кусков и грозит со временем измельчаться и обеднять»[2]. Этим же озабочен и Ап. Григорьев: «...являются или копировки с натуры в манере известного художника, с его приемами, с его красками — или вариации на темы, извлеченные анализом из его произведений»[3]. Вариации чаще всего обращены к герою вчерашнему — романтической личности в конфликте с «низкой» средой.

Сколько-нибудь значительных обобщений эти перепевы не дают, и «частная, местная выразительность» литературных произведений начинает ощущаться уже не как частный недостаток, а как препятствие в познании жизни. Критика

[1] Анненков П. О мысли в произведениях изящной словесности. — Современник, 1855, т. 49, № 1, с. 13.

[2] Там же.

[3] Григорьев Ап. Обозрение наличных литературных деятелей. — Москвитянин, 1855, т. 4, № 15—16, с. 188.

не устает повторять, что художественное произведение дает свою концепцию жизни, если писатель сводит образы и события в одно целое, — только тогда в произведении проясняется идея. «Запрос на мысль постоянно слышится в самом обществе»[4], — проза пока этот запрос удовлетворить не может.

«Литературные действователи», которые дадут эти общие «идеи» своего времени, — это Тургенев, Писемский, Гончаров, но и они войдут в литературу через критическое освоение «романтического героя». Над той же темой — непосредственно или опосредованно — работают Дружинин, Потехин, Авдеев и Тур. Литература должна была отказаться от своего вчерашнего дня, выработать новую точку зрения на человека.

Особое значение в этих условиях приобретает новый материал, освоение новых и значительных коллизий. Успех «Севастопольских рассказов» Л. Толстого среди прочих причин был вызван еще и тем, что «правда», признанная автором главным героем повествования, до конца развенчала псевдогероическую личность романтического склада в суровых обстоятельствах войны. Л. Толстой еще только появился на литературном горизонте, но в его «Севастопольских рассказах» критики сразу же заметили свойство, выделившее писателя из многих: Л. Толстой «отличается твердой отделкой своих произведений»[5]; «Севастополь» — «картина мастера строго задуманная, выполненная столь же строго, с энергиею, сжатостью, простирающейся до скупости в подробностях»[6].

Между тем средний уровень прозы грешил как раз «цветистым пустословием» (II, 258), недостаточной требовательностью к отделке произведений, излишней детализацией повествования, перегруженностью подробностями, придающими произведениям «болезненный, лимфатический вид»[7]. Эти особенности массовой литературной продукции были единодушно отмечены критиками разных направлений — Ап. Григорьевым, П. Анненковым, Н. Чернышевским.

Пристальное внимание критики к явлениям массовой литературы в середине 50-х годов не случайно. В произведениях рядовых писателей в особенности заметен процесс преодоления старого и практическое выполнение «всей спорной работы современности». Обращаясь к общему потоку литературы, критика стремится далеко не только к выявлению талантов, достойных внимания. Недостатка в таких талантах не было и в середине 50-х годов: «рядом с великими деятелями были у нас и такие, которые изредка отдавали

[4] Анненков П. Указ. соч., с. 16.
[5] Там же, с. 21.
[6] Григорьев Ап. Указ. соч., с. 203.
[7] Анненков П. Указ. соч., с. 4.

публике собственную мысль», «многое было сказано умно и дельно этими второстепенными производителями, а многое даже и хорошо сказано»[8]. Дело не в отдельных талантах и не в том, чтобы отделить талантливое от бесталанного. Критика ставит перед собой иную задачу — разобраться в существенных недостатках произведений молодых талантливых писателей.

Именно так делает свой выбор Чернышевский. Если особое внимание его к произведениям А. Островского и Л. Толстого не требует пояснений, то едва ли не равная степень интереса к М. Авдееву и Е. Тур понятна не сразу. Потехин, Григорович, Писемский, Гончаров, Савинов — эти имена сопровождены краткими характеристиками-репликами. Крупным планом представлены Тур и Авдеев. Ясно, что критик отнюдь не склонен видеть в этих авторах надежду литературы. Красноречив уже тот факт, что, когда пишутся статьи о Е. Тур и М. Авдееве (1854 г.), «Современник» давно уже не печатает этих авторов. Однако писатели эти по-прежнему пользуются большим вниманием читающей публики, остаются популярными, их печатают «Отечественные записки», выходят и отдельные издания их произведений[9]. В сознании читателя М. Авдеев и Е. Тур отнюдь не второстепенные авторы. И внимание Чернышевского к ним не случайно: «Что входит в моду, то должно подвергнуться ближайшему рассмотрению уже по этому обстоятельству, хотя бы и не заслуживало этого по своему художественному значению» (II, 258). Критик понимает, что имеет дело вовсе не с заурядными и беспомощными литераторами, что «мода» на Тур и Авдеева поддерживается талантом особого рода: они умеют писать в угоду «среднему» читателю.

В произведениях Е. Тур и М. Авдеева Чернышевский отмечает недостатки, показательные, по его мнению, для всей литературной продукции той поры: аффектацию, подражательность, многословие — и относит этих писателей к числу тех, кто дорожит «рубинами и изумрудами своего прекрасного слога» (II, 467).

Необыкновенную переимчивость М. Авдеева заметил еще П. Анненков, закрепивший за ним звание «записного рассказчика, который не остановится за словом, лишь бы мысль была заготовлена прежде и обнаружилось требование на нее в публике»[10].

---

[8] Анненков П. Старая и новая критика. — В кн.: Анненков П. Воспоминания и критические очерки. СПб, 1879, отд. второй, с. 18. Далее: Анненков П. Воспоминания...

[9] Авдеев М. Романы и повести в 2-х т. СПб, 1853; Тур Е. Три поры жизни. Роман. 3 части. М., 1854. Именно эти издания подробно разбирает Чернышевский в «Современнике».

[10] Анненков П. Романы и рассказы из простонародного быта. 1854. — В кн. Анненков П. Воспоминания..., с. 77.

Характеризуя состояние прозы 50-х годов, Чернышевский ищет общие определения этой по-своему устойчивой литературной нормы. Подлинно весомого художественного слова нет, а словесность в ее обкатанных темах и формах упорно существует, претендуя на звание литературы. И Чернышевский указывает прежде всего на недоброкачественность самой словесной ткани: «Из всех недостатков, какие замечаются в современной литературе, самый общий растянутость и необходимое следствие ее — бледность картин, вялость сцен, пустота и утомительность всего произведения» (II, 465).

Мысль эта высказывается Чернышевским не однажды, повторяясь в различных статьях: современные авторы исписывают множество страниц, не наполняя их часто ничем, кроме «тех перлов, которые такою однообразною нитью тянутся из-под их пера» (II, 465); для многих характерны подробные описания «не потому, чтобы это было нужно для романа, а просто из любви к фантастическому сиянию» (II, 224); речь болтлива, слог небрежен, «страшная аффектация, натянутость и экзальтация» (II, 231) — и все это притязания «на различные высшие достоинства слога, психологии, юмора», вызывающие в читателе разнообразные «оттенки и переливы тоскливой скуки» (II, 633, 632); «повсюду видишь бездонно-жидкие трясины» (II, 466). И критик приходит к мысли: «Отрадно было бы даже увидеть признаки сухотки» (II, 466). Ясно, что высказываемые положения для Чернышевского не случайны, а принципиально важны.

Едва ли не общим местом в исследовательской литературе о Чернышевском стало замечание, что, говоря о «водянистости» стиля многих писателей, длиннотах и вялости, в которых тонет их мысль, Чернышевский имеет в виду безыдейность авторов или полагает причиной неудач русской прозы 50-х годов бесталанность писателей [11]. Однако эта точка зрения нуждается в уточнении. Задача Чернышевского состоит не в том, чтобы вычеркнуть из литературы произведения, недостойные быть причисленными к области искусства. Его критика более продуктивна. Он подчеркивает, что пристрастие к многоречивости свойственно и людям одаренным: «...о бесталанных мы не говорим; но грустно, что одаренные замечательным талантом подвержены этой слабости наравне с бесталанными» (II, 465). В произведениях М. Авдеева, «одного из любимых наших беллетристов» (II, 211), идеализация, подражательность, «безотчетная сантиментальность»

---

[11] См.: Лаврецкий А. Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм. М., 1964, с. 278—279; Зельдович М. Статьи Н. Г. Чернышевского о Пушкине в общественно-литературной борьбе 50-х гг.— В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Саратов, 1965, вып. 4, с. 9.

особенно заметны, потому что его произведения отмечает «несомненный талант повествователя» (II, 221). При известных условиях М. Авдеев может написать произведение, действительно принадлежащее «к современной жизни по развитию мысли» (II, 221), но надо всем, что он пишет, довлеет средняя норма словесного «искусства», которая замещает искусство подлинное.

Как видим, оценки Чернышевским М. Авдеева выходят за рамки частной характеристики, перерастая в размышления, как сказали бы мы теперь, типологические.

Определяя сжатость как «первое условие эстетической цены произведения» (II, 466), Чернышевский напоминает о строгом отношении Пушкина к слову. Лаконизм прозаического повествования Пушкина и Лермонтова объясняется продуманно точным сообщением о событии, о действиях героев (II, 466—467). И здесь Чернышевский полностью разделяет мнение Белинского [12], полагавшего главные достоинства повести в «простоте вымысла» и «наготе действия», причем «действия», лишенного всякого мелодраматизма и состоящего в «обыкновенности... происшествий» [13].

«Пустословие бесцветных общих мест» (II, 465) произведений 50-х годов Чернышевский считает рецидивом романтической прозы 30-х: «Вот опять, как во времена Марлинского и Полевого, появляются на свет, читаются большинством... произведения, состоящие из набора риторических фраз, порожденные «пленной мысли раздраженьем», ненатуральною экзальтациею, отличающиеся прежней приторностью...». Все это отнюдь не так безобидно и угрожает «опять забыть о содержании, о здоровом взгляде на жизнь как существенных достоинствах литературного произведения» (II, 255). Романтизм, по мнению Чернышевского, порождается «фальшивостью основного... взгляда на жизнь» (III, 188). Примечательно, что в основе разбора Чернышевским романа Е. Тур «Три поры жизни» (II, 222—230) [14] лежит сопоставление с популярным в 30—40-е годы романом Д. Бегичева «Семейство Холмских». И любопытно, что в данном случае сравнение оказывается в пользу «старого плохого романа». Главное преимущество «Семейства Холмских» — не что иное, как естественность интонации: «...всякий найдет его превосход-

---

[12] Чернышевский прямо адресует читателя «Очерков гоголевского периода...» (III, 14) к статье Белинского 1835 г. «О русской повести и повестях Гоголя».

[13] См.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч. в 13-ти т. М., 1953—1956, т. 1, с. 289. Последующие ссылки даются по этому изданию.

[14] Отметим, что внимание Чернышевского этот роман заслужил не сам по себе, а «как один из многих подобных ему аффектированных романов, число которых размножилось в последнее время очень заметно» (II, 258).

ным, как найдет очень гармоничным незатейливое чириканье простодушного воробья, наслушавшись итальянских романсов иной модной певицы» (II, 223).

Известно, что Чернышевский невысоко ценил достоинство «прозаической отрасли» литературы 30-х годов. Он стремился доказать, что «общее впечатление, производимое всею массою сочинений, считавшихся тогда хорошими или превосходными», сводится к признанию одной истины: «Не только критического, но и почти никакого другого определенного элемента нельзя было отыскать в ее содержании» (III, 19).

«Одномерность» этих суждений о литературе 30-х годов очевидна. Чернышевский не случайно не берет во внимание, например, положительно отмеченные в свое время Белинским повести Вл. Одоевского. И вообще весь массив догоголевской русской повести (Нарежный, Полевой, Погодин, Павлов), рассматривавшейся Белинским в целом позитивно, Чернышевским опущен. С Белинским он солидарен главным образом в отрицательной оценке прозы Марлинского. Последним объясняется и полемическая цель Чернышевского: он берет в качестве типического представителя романтизма роман Д. Бегичева, стремясь подражательность и вторичность этого произведения вообще связать с романтическим мировосприятием. Бесконечные просторы «Семейства Холмских» — вот прецедент «многословия» современной словесности.

Имена Н. Полевого и А. Марлинского неразрывно связаны в сознании Чернышевского с романтизмом, считавшим, как отмечает критик, только «колоссальные страсти и эффектные явления достойными внимания поэта», требовавшим «возвышенных страстей и идеальных личностей в искусстве» (III, 188, 187).

Сопоставляя в этом плане литературу 50-х годов с прозой 30-х, Чернышевский ставил общий вопрос о природе и судьбе «длиннот» в русской повести. Конечно, попытка Чернышевского отнести аффектацию и многословие к типологическим свойствам романтизма не убедительна. Романтизм давал образцы и другой прозы, и Вл. Одоевский — яркий тому пример. Словесные излишества отнюдь не являются непременной принадлежностью романтического творчества и его специфическим признаком.

Между тем указанная Чернышевским параллель — не только полемический прием, полемика здесь имеет и определенную историко-литературную обоснованность. Повести, печатавшиеся в 1830-е годы «Московским Телеграфом», дают материал для интересующей нас темы «длиннот». Чернышевским уловлены такие особенности трактовки характера в романтической повести 30-х годов, которые при механическом, традиционном перенесении их на иной жизненный ма-

териал обнаружили себя как штампы описательного многословия.

Внимание к сильной личности, человеку таинственной судьбы, пришедшему в мир с требованием исключительной доли, сохранилось и в начале 50-х годов.

Апология сильных страстей и активной воли — черта, объединяющая все творчество Марлинского[15]. Романтическое изображение любви как рокового чувства, поэтизация этой возвышенной любви, сильных страстей, мысль о сложности и загадочности человеческой натуры, обозначение непреодолимого конфликта личности и мира — эта традиция Марлинского еще жила в так называемой «светской» повести 50-х годов.

Аффектация и экзальтация, в которых Чернышевский видел «извращение умственных и нравственных сил человека» (III, 188), — действительно чрезвычайно характерные признаки стиля писателя-романтика, и они не недостаток, а способ видения, в чем и состоит секрет их длительного влияния на прозу.

Чрезмерность, гиперболичность стиля Марлинского получает в работах исследователей различную оценку[16], но в самом признании аффектации все единодушны: «гремящий гиперболами и метафорами, романтически раздутый стиль Марлинского»[17] — это стиль так называемой «поэтической прозы». Установка же на «поэтичность» в массовой литературной продукции нередко утверждалась в результате отождествления ее с «художественностью» как таковой.

«Неистовая фразистость» наполняет страницы, описывающие подробно страстные чувства героя. Герой («Страшное гадание») сам рассказывает о характере своей привязанности к Полине, стремясь подыскать ко всем оттенкам своих переживаний соответствующие определения[18]. На страницах этих нет лирики, а есть «лирические размышления по поводу своего чувства»[19] — отсюда и многословие, «натянутость»

---

[15] См.: Канунова Ф. Эстетика русской романтической повести. Томск, 1973, с. 150.

[16] См.: Базанов В. Очерки декабристской литературы. М., 1953, с. 338; Берковский Н. Статьи о литературе. М.—Л., 1962, с. 263; Чичерин А. Очерки по истории русского литературного стиля. М., 1977, с. 84.

[17] Чичерин А. Указ. соч., с. 83.

[18] Герой (имени его мы не знаем), влюбленный в замужнюю даму, Полину, увозит ее от мужа. Но подчинение «неистовым страстям» приносит всем одни лишь несчастья: герой в порыве дикой ярости убивает преследующего их мужа, Полина уже не может никогда быть счастлива, герой наш, соответственно, тоже — таковы «следствия безумной любви» (Московский телеграф, 1831, ч. 38, № 6, с. 210). Вся эта трагическая история разворачивается во сне, во время «страшного гадания» — наяву же герой от такого «счастья» отказывается, понимая его бесчеловечность.

[19] Лежнев А. Проза Пушкина. М., 1966, с. 59.

в изображении «страстей», «чересчур цветистая фразеология»[20]: «Пылкая, могучая страсть катится как лава; она увлекает и жжет все встречное; разрушаясь сама, разрушает в пепел все препоны и, хоть на миг, но превращает в кипучий котел даже холодное море.

Так любил я»[21].

Становясь повторением и калькой, такого рода самоизъявления героя превращались в многословную «водяную» прозу — у Марлинского же они имели достоинства первой исповеди таинственной души человека сильной воли.

Изображение «бурных страстей и раздирательных положений неистово фразистым языком» (III, 27) прекрасно совмещалось в повестях Марлинского с динамизмом, стремительностью в развитии действия — вспомним, что именно это свойство его повестей дало основание называть их «быстрыми». Романтические длинноты в описании чувств не всегда следствие рыхлости сюжета.

Понятия «лаконизм», как и «длинноты», требуют конкретизации. Многословие «быстрых» повестей Бестужева-Марлинского, например, чрезвычайно далеко от той «болтовни», к которой зовет его Пушкин: «Роман требует *болтовни*; высказывай все начисто»; «...да возьмись-ка за целый роман и пиши его со всею свободою разговора или письма»[22]. «Болтовня» для Пушкина здесь — призыв к углублению в детали и оттенки простой жизни, это проникновение в их смысл, стремление к простоте, естественности. Непринужденность и безыскусность — вот чем дорожит Пушкин. Проза Марлинского, напротив, тяготеет к витийству[23]. Это «витийственное» начало и нашел Чернышевский в прозе 50-х годов.

Дыхание жизни обычной, обыденной, не вознесенной на ходули напыщенности и натяжек, слышится в повестях Н. Полевого. Это и дало возможность Белинскому в 1835 году поставить их выше повестей Бестужева-Марлинского по «верности действительности»[24]. Чернышевский же в 50-е годы не хочет видеть никаких различий между этими писателями и прежде всего находит общность между ними — как романтиками — в «искаженном понятии об условиях человеческой жизни» (III, 188).

В центре внимания Н. Полевого тоже незаурядная личность, возвышенная душа, художник «в борьбе с мелочами жизни и ничтожностью людей»[25] — «верность действитель-

---

[20] Белинский В. Г. Полн. собр. соч. в 13-ти т., т. 1, с. 274.
[21] Московский телеграф, 1831, ч. 38, № 5, с. 37.
[22] Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т. М.—Л., 1949, т. 10, с. 147, 192.
[23] См.: Лежнев А. Указ. соч., с. 76.
[24] Белинский В. Г. Полн. собр. соч. в 13-ти т., т. 1, с. 278.
[25] Там же, с. 156.

ности» сказалась и во внимании к мелочам жизни, и в демократическом происхождении героя, да и в некоторых особенностях конфликта.

Для главного героя окружающий его мир всегда противник, всегда проклятие: «Теперь — одинокость, страшное уединение души и сердца — и страшное лицо мира с его двумя тусклыми, помраченными от низких страстей очами, на которых не ищите божественного отблеска первосоздания»[26], — так ощущает себя переживающий разочарование в возлюбленной Аркадий («Живописец»). Романтик не может отыскать свой идеал в окружающей его реальной жизни с ее бытовыми подробностями[27], двуплановостью миропонимания объясняется разностильность многих романтических произведений[28] и, в частности, повестей Н. Полевого и Бестужева-Марлинского, у которых реальный, бытовой и так называемый «идеальный» планы повествования сосуществуют в одной повести, действительность же дается в основном лишь как предмет критики.

Главная роль в раскрытии внутреннего мира героя принадлежит исповеди, «повести жизни», рассказываемой повествователем или самим героем. В некоторых подробностях, деталях такого рассказа проявляется стремление к психологической достоверности. Подчеркиваются, например, обстоятельства, которые способствовали развитию необычных наклонностей души героя. В жизни Аркадия («Живописец») большую роль сыграл генерал, приблизивший его к себе и воспитавший его в возвышенном духе. Антиох («Блаженство безумия») с детства находился под сильным влиянием романтически настроенной матери, по смерти которой герой с особой остротой переживает столкновение с «грубым миром страстей».

Историю героя романтическая повесть еще не видит в самих его поступках, в его настоящем. Рассказ же о прошлом у учеников и последователей романтической прозы перерос в самостоятельную ветвь повествования, в настоящую «повесть в повести». Автор сам дает первую и послед-

---

[26] Московский телеграф, 1833, ч. 51, № 11, с. 397.

[27] Наиболее определенно эта тенденция прослеживается в повестях Вл. Одоевского, где нет смешения разных пластов повествования — реального и идеального. Эти две сферы четко у него разделяются, и появляются повести сугубо бытового характера и философско-метафорические, описывающие возвышенный мир мысли и страстей. Быт и бытие у этого писателя отчетливо несовместимы, «гармонический идеал лежит для него за пределами человеческих возможностей» (Измайлов Н. Пушкин и князь В. Ф. Одоевский. — В кн.: Пушкин в мировой литературе. Л., 1926, с. 399; см. также Ботникова А. Э.—Т.—А. Гофман и русская литература (первая половина XIX в.). Воронеж, 1977, гл. 4.

[28] Гуляев Н. О реализме в романтизме. — В кн.: Вопр. романтизма. Калинин, 1974, с. 6—7.

нюю оценку героя до его поступков[29], он словно бы не доверяет событиям самим сказать о герое, и чем больше это недоверие, тем охотнее стремление автора самому все предельно уточнить, не оставить никакой недосказанности. Н. Полевой в этом случае часто прибегает и к прямым аналогиям из области литературы и живописи для объяснения поступков героя (Гете, Шиллер, Жуковский, Данте, Дюрер, Грёз и т. д.).

В романтической повести сюжет стремится к завершающей развязке-ответу[30]. Полевой всегда досказывает трагическую историю главного героя до конца. Умирает на чужбине Аркадий; безумием, а потом и смертью платит Антиох «за мгновенные прихоти своего бешеного воображения»[31]; в смерти же обретает исход возвышенная душа Эммы («Эмма»). Романтическая повесть еще только подходит к такому типу финала, когда одно наиболее показательное событие проецируется на всю последующую жизнь героя, рассказ о которой становится необязательным.

«Собственной позиции проза еще не имеет — она воспринимается и оценивается на фоне стиха, с которым конкурирует в сладкозвучии и ритмизации»[32]. Может быть, этот вывод излишне категоричен в применении к романтической повести в целом. Но одно остается в суждении Б. Эйхенбаума несомненно верным: аналитичность нередко формой своего проявления избирает описательность, а потому и оборачивается «излишней говорливостью, которая иногда переходит в совершенную болтливость»[33].

Романтическая традиция, которой овладели Марлинский и Полевой, начинает превращаться в шаблон уже к концу 30-х годов. Вл. Одоевский, размышляя в 1836 г. о том, «как пишутся у нас романы», обнаруживает вполне деловой подход к проблеме освоения литературных форм. Он предлагает обилие жизненных «опытов и наблюдений» излагать в «собственных записках», «не гоняясь за фантазиею и не называя их романом»[34], если мысль автора не одушевлена поэзией, если нет оригинальной формы для их выражения.

Некий стереотип романтической повести (отразившийся и в «Семействе Холмских» Д. Бегичева) поддерживался в

---

[29] Т.роицкий В. Романтизм в русской литературе 30-х годов XIX века. Проза. — В кн.: История романтизма в русской литературе. 1825—1840. М., 1979, с. 115.

[30] См.: Селезнев Ю. Проза Пушкина и развитие русской литературы (к поэтике сюжета). — В кн.: В мире Пушкина. М., 1974, с. 415—416.

[31] Московский телеграф, 1833, ч. 49, № 1, с. 57.

[32] Эйхенбаум Б. О прозе. Л., 1969, с. 216.

[33] Белинский В. Г. Полн. собр. соч. в 13-ти т., т. 1, с. 156.

[34] Одоевский В. Как пишутся у нас романы. — Современник, 1836, т. 3, с. 50.

«светской» повести с ее сюжетами из области «тайн света». Даже у Вл. Одоевского повести «Княжна Зизи» и «Княжна Мими» рыхлее и описательнее, чем его «исторические новеллы», вошедшие в «Русские ночи», написанные пластичной и скупой на словесные украшения прозой.

В 50-х годах «светская» повесть больше всего была верна псевдоромантической традиции. Вторичность многих явлений массовой литературной продукции несомненна. В лучших образцах романтической повести 30-х годов конфликт подсказан временем: волевая личность впервые заявила право Человека. Позднее же в этот конфликт вплетаются повторения, нередко искажающие сам дух первоисточника. Герой М. Авдеева Тамарин («Тамарин»), продолжающий, по мнению автора, ряд «лишних людей», уже тогда воспринимался как пародия на Печорина. Роман Авдеева «сшит из поношенных лоскутков», повести «не приходятся по мерке нашего века» (II, 210). Роман Е. Тур, как считает Чернышевский, удивительным образом напоминает «незавидного достоинства» роман 30-х годов — и не выдерживает сравнения с ним.

Обращаясь к прозаическим опытам 50-х годов, Чернышевский справедливо отмечает в них черты сходства с романтической прозой 30-х: та же описательность вместо лаконичного, точного действия, те же образцы натянутости и натяжек в характере героев, в стиле произведений. Но эти одинаковые явления имеют разную природу: Марлинский и Полевой — живое явление века, Авдеев и Тур — анахронизм.

Ретроспекции Чернышевского при всех погрешностях его против конкретного историзма все же были изучением истории явления.

Критик предлагает свое объяснение «живучести» романтической традиции: он полагает, что борьба против «болезненного романтического направления в жизни» не закончена и «продолжается до той поры, когда люди совершенно отвыкнут обольщаться аффектациею в жизни, когда они привыкнут смеяться над всем неестественным как пошлым, какими бы выгодными фразами и формами ни прикрывалась его внутренняя пошлость» (III, 189).

Возникающие в 50-е годы образцы романтической прозы — это, в большой степени, шаблон, мертвые образцы, тогда как в прозе романтиков 30-х годов шел естественный процесс выработки способов построения литературного содержания.

Г. Н. АНТОНОВА

РОМАН «ЧТО ДЕЛАТЬ!» В ОЦЕНКЕ ГЕРЦЕНА

В немногочисленных работах, посвященных изучению литературно-критических взглядов Герцена, его высказывания о романе Чернышевского «Что делать?» не получили сколько-нибудь полного освещения. Чаще всего они либо обходятся молчанием[1], либо характеризуются однозначно лишь как проявление литературного «вкуса» Герцена, которому будто бы свойственны «остаточные переживания, пережитки старого барства»[2]. При этом имеется в виду в основном отрицательная оценка критиком языка и стиля романа Чернышевского. Но и в тех исследованиях, где рассматривается прежде всего герценовская трактовка проблематики «Что делать?», недостаточно учитывается внутреннее единство и целостность суждений критика[3]. Остается открытым и вопрос о том, каковы причины, определившие логику разнохарактерных оценок Герценом произведения Чернышевского. Между тем освещение названных проблем позволит постичь некоторые важные черты критического метода Герцена в соотнесении с критическим методом Чернышевского. Вопрос о критическом методе Герцена — один из наименее изученных в нашей науке — нуждается в специальном исследовании. В данном случае речь идет о таких коренных проблемах

[1] Глаголев Н. А. Литературно-критические взгляды А. И. Герцена. — Литература в школе, 1936, № 2, с. 30—40; Айзенштok И. Герцен — литературный критик. — Литературный критик, 1937, № 5, с. 18—43; Эльсберг Я. Герцен. Жизнь и творчество. Изд-е 4, М., 1963; с. 642—651. Кулешов В. И. История русской критики. М., 1972, с. 183—188.

[2] Лаврецкий А. Герцен и эстетика реализма. — В кн.: Лаврецкий А. Эстетические взгляды русских писателей. М., 1963, с. 196—197.

[3] Птушкина И. Г., Путинцев В. А. Герцен и Огарев — критики. — В кн.: История русской критики, т. 1, 1958, с. 596; Пехтелев И. Г. Герцен — литературный критик. М., 1967, с. 172—180.

общественно-литературных воззрений Герцена, как понимание связи субъективного и объективного начал в историческом развитии, искусстве, критике.

* * *

«Что делать?» Герцен, очевидно, прочитал сразу же после его опубликования. В письме Герцена к сыну Александру от 20 мая 1863 г. содержится сочувственный отзыв о том номере «Современника» (1863, № 4), где печаталась вторая часть романа (весь роман, как известно, был опубликован в «Современнике», 1863, № 3—5). Однако в ту пору критик не высказал сколько-нибудь подробно своего мнения о нем, опасаясь, очевидно, так или иначе повредить заключенному в Петропавловскую крепость автору. Развернутые высказывания Герцена о «Что делать?» относятся к 1867 г., когда он перечитывал этот роман в женевском издании М. Элпидина и К°[4].

Оценка Герценом этого романа неоднозначна. В письмах к Н. Огареву и сыну, Александру Герцену, критик выделяет то, что ему импонирует в романе, и то, что вызывает спор, несогласие с автором «Что делать?». Приведем эти высказывания, разбросанные в письмах. Н. Огареву, 30—31 июля 1867 г.: «Какая жалость, что роман Чернышевского писан языком ученой передней, — в нем бездна хорошего»[5]. Александру Герцену, 1 августа 1867 г.: «Я перечитываю роман Чернышевского «Что делать?» — Пришлю его тебе — форма скверная, язык отвратительный, а поучиться тебе есть чему в манере ставить житейские вопросы» (XXIX, кн. 1, 160). Н. Огареву, 4 августа 1867 г.: «Чернышевского роман читай, много хорошего. Он <...> урод и мил. А вред он должен был принести немалый» (XXIX, кн. 1, 163). Н. Огареву, 27 августа 1867 г.: «В нем много хорошего. Это удивительная комментария ко всему, что было в 60—67, и зачатки зла также тут. Прочти же его» (XXIX, кн. 1, 185). В письме к Н. Огареву от 8 августа 1867 г. дана наиболее развернутая характеристика «Что делать?»: «Когда ты начнешь роман Черныш<евского>? Это очень замечательная вещь — в нем бездна отгадок и хорошей и дурной стороны ультранигилистов. Их жаргон, их аляповатость, грубость, презрение форм, натянутость, комедия простоты, и — с другой стороны — много хорошего, здорового, воспитательного. Он оканчивает фаланстером <...> — смело. Но, боже мой, что за слог, что

[4] Чернышевский Н. Г. Что делать? Vevey, изд-е М. Элпидина и К°, 1867. Далее цитаты приводятся по этому изданию.

[5] Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т. М.Изд-во АН СССР, 1954—1965, т. XXIX, кн. 1, с. 159. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома (римской цифрой) и страницы.

за проза в поэзии (сны Веры Пав<ловны>), что за представитель семинарии и Васильевского острова! Как он льстит нигилистам! Да, и это, как гебертизм в 1794 г., — фаза, но и она должна пройти» (XXIX, кн. 1, 167—168).

Что же ценного находил Герцен в романе Чернышевского и какие стороны этого произведения вызвали его порицание? Еще в статье «Порядок торжествует» (1866) Герцен утверждал, что началом, объединяющим «Колокол» и «Современник», является «общая теория социализма», «частным случаем» которой был «русский общинный социализм» Герцена и Огарева. «Мы, — писал Герцен, имея в виду Чернышевского и себя с Огаревым, — служили взаимным дополнением друг друга» (XIX, 193). В романе Чернышевского критик и нашел художественное воплощение социалистических идеалов, ставших знаменем для всей «юной России». Известно, что себя и Огарева Герцен также всегда относил к представителям «юной России». «Идеалы ее были в совокупном труде, в устройстве мастерской <...>» «Чернышевский, Михайлов и их друзья первые в России звали не только труженика, съедаемого капиталом, но и труженицу, съедаемую семьей, к иной жизни. Они звали женщину к освобождению работой от вечной опеки, от унизительного несовершеннолетия, от жизни на содержании, и в этом — одна из величайших заслуг их» (XIX, 194). Герцену импонирует смелость, с какой Чернышевский оканчивает свой роман «фаланстером», выражающим веру в неотвратимость социалистического идеала. Он разделяет также предложенное автором разрешение «житейских вопросов» на основе морали «разумного эгоизма».

По глубокому убеждению Герцена, социалистические идеи, развиваемые в романе, ни в коей мере нельзя рассматривать как результат субъективных мечтаний. Эти идеи отражают объективную закономерность исторического развития, являются «ответом на настоящие страдания, словом утешения и надежды гибнувшим в суровых тисках жизни» (XIX, 194). Из всего сказанного ясно, почему роман Чернышевского Герцену «мил». Но почему он «урод»? В чем критик видит его «вред»? И в чем смысл сравнения изображенного в нем общественного движения 60-г гг. с «гебертизмом в 1794 году»?

Порицание Герцена вызвали сны Веры Павловны, где картина социалистического фаланстера, построенного на началах разума, была детализирована, развернута с конкретными подробностями. Между тем еще в 40-е гг. он критиковал Фурье за «убийственную прозаичность, жалкие мелочи и подробности, поставленные на колоссальном основании»: «Народы будут холодны, пока проповедь пойдет этим путем» (дневник от 24 марта 1844 г. — II, 345). Кстати сказать,

мнение о том, что Чернышевский является последователем Фурье, пропагандировала враждебно настроенная по отношению к Герцену «молодая эмиграция». Так, в упоминавшемся женевском издании «Что делать?» в примечании к тому месту романа, где иносказательно упоминалось «Destinée sociale» В. Консидерана, говорилось: «Это довольно полное изложение системы Фурье, которой, как известно, во многом придерживался Чернышевский»[6].

По мнению же Герцена, излишняя конкретизация прекрасных по своей сути идеалов невольно приводила к тому, что желаемое выдавалось за действительное. Такая тенденция представлялась Герцену опасным проявлением утопической отвлеченности, поскольку она переключала внимание с действительных запросов современности на теоретические проблемы, еще далекие от реального осуществления. Не случайно в заслугу себе и Огареву Герцен в статье «Порядок торжествует» ставил умение не выходить «из настоящего положения ни в голубую даль дорогих для нас идеалов, ни в чистые сферы отвлеченной социологии» (XIX, 195). В романе Чернышевского Герцен заметил некоторое проявление утопической отвлеченности в трактовке идеалов будущего социалистического общества[7]. Свою мысль Герцен разъясняется через сравнение идей «нигилизма» в романе с «гебертизмом 1794 года».

Но прежде всего нужно сказать, какое содержание вкладывалось критиком в понятие «нигилизм». Для него это понятие не имеет сословного признака, поскольку к нигилистам, как известно, он причислял Белинского, Грановского, Огарева, самого себя, Г. Вырубова, М. Бакунина и, наконец, «молодую Россию» 60-х гг. — революционных разночинцев. «Нигилизм» — категория мировоззренческая: это *«наука и сомнение, исследование вместо веры, пониманье вместо послушанья»* (XIX, 198), это «твердые убеждения и огромное бесстрашие логики» (XX, кн. 2, 512). Что же касается философского содержания термина, то оно у Герцена подвижно и включает как материалистическую диалектику (Белинский, Герцен, Чернышевский), так и позитивизм (Г. Вырубов, Писарев). Вернее сказать, для Герцена важна не кон-

[6] Чернышевский Н. Г. Что делать?, с. 478.

[7] Здесь позиция Герцена оказалась в какой-то мере общей с суждениями Салтыкова-Щедрина, порицавшего автора «Что делать?» в своих хрониках «Наша общественная жизнь» (январь, март 1864 г.) за «некоторую произвольную регламентацию подробностей и именно тех подробностей, для предугадания и изображения которых действительность не представляет еще достаточных данных» (Салтыков М. Е. Собр. соч. в 20-ти т. М., 1968, т. 6, с. 324). Подробнее об отношении Салтыкова-Щедрина к роману Чернышевского см: Самосюк Г. Ф. Утопические идеи романа «Что делать?» в оценках «Современника». — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Изд-во Сарат. ун-та, 1978, вып. 8, с. 137—147.

кретная связь нигилизма с той или иной философской теорией, но его принципиальная враждебность всякому догматизму и доктринерству. В нигилизме он ценит единство опыта и теории, следующей самой объективной закономерности[8].

Сравнив идеи нигилизма 60-х гг., как они отразились в романе «Что делать?», с гебертизмом 1794 года, Герцен, по-видимому, имел в виду просветительскую, оптимистическую убежденность Чернышевского в конечном торжестве разума в истории. В этой связи критик обратил особое внимание на те сцены (сны Веры Павловны), где светлый идеал, основанный на началах разума, предстал по воле автора уже осуществленным, претворенным в жизнь. Одним из главных догматов гебертистов, сторонников Ж. Эбера, виднейшего идеолога парижских санкюлотов эпохи Великой французской революции, редактора популярной газеты «Пер Дюшен», был культ разума, воспринятый от энциклопедистов Гельвеция и Гольбаха. В «Былом и думах» Герцен писал о гебертистах так: «Анахарсис Клоц, гебертисты, назвавшие бога по имени — Разумом, были также уверены во всех salus populi (общественных благах. — *Г. А.*) и других гражданских заповедях, как средневековые попы в каноническом праве и в необходимости жечь колдунов»[9] (XI, 235).

Непререкаемая, фанатическая вера в разум и волю личности неизбежно оборачивалась, по мнению Герцена, историческим субъективизмом, недооценкой закономерного объективного хода жизни. В поисках диалектического решения проблемы свободы и необходимости в истории Герцен в статье «Ответ г. Г. Вырубову» упрекал «революционный реализм молодой России» в том, что им не всегда учитывается «бездна, отделяющая теоретическую мысль от практиче-

---

[8] Ср. с тем, что писал о нигилизме либеральствующий Кавелин, с *которым Герцен решительно размежевался еще в конце 50-х гг. Кавелин* односторонне сводил нигилизм лишь к рационализму, не видя в нем ничего плодотворного: «Безразличие есть теоретическое основание, источник нигилизма. <...> Нигилизм есть результат ошибочного вывода, есть по своему источнику теоретическая односторонность» (К а в е л и н. К. По поводу диспута г. Неклюдова.— Санктпетербургские ведомости. 1865, № 132, 28 мая (9 июня), с. 1).

[9] Былое и думы, глава «Роберт Оуэн» (Полярная звезда, 1861, кн. VI). Не разделяя фанатизма гебертистов, их тактику террора в 1793—1794 гг., Герцен сочувственно характеризовал нравственный облик *сторонников Эбера: они «были честны, <...> были чисты в своем идеале*, в своей вере» (Ввоз нечистот в Лондон. — Колокол, л. 175 от 15 декабря 1863 г.; XVII, 298). Примечательно, что критик не был согласен с суровой оценкой гебертистов как последователей теории разумного эгоизма в книге Луи Блана «История французской революции 1789 года» (Paris, 1857, т. IX). См.: письмо Герцена к Ж. Мишле от 12 ноября 1857 (XXVI, 136); Былое и думы, глава «Эмиграции в Лондоне» (Полярная звезда, 1859, кн. V; XI, 49).

ской жизни, отделяющая науку от народа»: «Абстракция проста, она может быть верна sub speciae aeternitatis, но ее прямая линия нисколько не совпадает с причудливой кривой истории, образующей узлы и обратные повороты» (XX, кн. 2, 513). Вот почему Герцен видел вред в появлении таких, например, прокламаций 60-х гг., как «Молодая Россия», в которой, по его словам, было больше «алгебры идей с ее легкими и всеобщими формулами и выводами», чем знания фактов реальной действительности (см.: «Молодая и старая Россия», 1862; «Журналисты и террористы», 1862). Подобно тому, как Белинский выступал в конце 40-х гг. против утопических тенденций социалистических систем, Герцен в 60-е гг. настойчиво отвергал «догматическую регламентацию» и «доктринерский схоластицизм», вытекающие из «абстрактного понимания» действительной русской жизни. Косвенно Герцен задел в этой связи и Чернышевского, полагая, что доля кабинетной отвлеченности обнаруживается и в его отношении к народу, в частности в статье «Не начало ли перемены?» [10]. Но особенно серьезные возражения Герцена в то время, когда он перечитывал роман «Что делать?», вызывала революционная «риторика» «псевдонигилистов», как он называл «молодых эмигрантов», считавших себя последователями Чернышевского. В письмах к Н. Огареву от 27 августа 1867 г., от 5 июля 1869 г. Герцен иронически именовал эту эмиграцию «стаей Чернышевского» (XXIX, кн. 1, 185; XXIX, кн. 2, 403) [11]. Важно заметить, что мировоззрение Чернышевского и Добролюбова Герцен никогда не отождествлял с идеями «псевдонигилизма» (XXIX, кн. 1, 352). Под последним он подразумевал крайнее выражение революционного экстремизма — следствие абстрактного незнания реальной обстановки в России и действительных нужд народа: «псевдонигилисты» — это «книжники революции» (XVI, 29) [12].

Если в своей критике «молодой эмиграции» Герцен был во многом прав, то по отношению к Чернышевскому его позицию нельзя оценивать однозначно. Находя в «Что делать?» «удивительную комментарию ко всему, что было в 60—67 го-

---

[10] Герцен А. И. Мясо освобождения (XVI, 28—29).

[11] О разногласиях Герцена с «молодой эмиграцией» см. подробнее: Козьмин Б. П. Герцен, Огарев и «молодая эмиграция» — Литературное наследство. М., 1941, т. 41—42; Он же. Представители «молодой эмиграции». — Литературное наследство. М., 1953, т. 61; Рудницкая Е. Л. Чернышевцы и «Колокол» (К истории идейных исканий и тактических расхождений в русском революционном движении 60-х годов XIX в.). — В кн.: Чернышевский и его эпоха. М., 1979.

[12] А. А. Серно-Соловьевич, выступивший в своей нашумевшей брошюре «Наши домашние дела» против Герцена от лица «молодой эмиграции», несправедливо предъявил издателю «Колокола» горький упрек в «непонимании учения — школы Чернышевского, <...> незнакомстве с его статьями» (Серно-Соловьевич А. А. Наши домашние дела. Vevey, 1867, с. 23).

дах», Герцен справедливо отмечал реализм, социально-политическую и философскую злободневность романа, художественно воплотившего мировоззрение и поведение революционных разночинцев 60-х гг. Но, по Герцену, «и зачатки зла также тут». Это значит, что критик считал Чернышевского в какой-то мере ответственным за крайности революционного движения 60-х гг., проявившиеся в революционном фразерстве и «доктринерской схоластике», свойственной, в частности, и «молодой эмиграции». И вот в этом-то Герцен ошибался, совершая, если воспользоваться словами Плеханова, сказанными им по другому поводу, «логический промах».

Однако констатировать «ошибку» еще недостаточно, важно понять ее природу. В самом деле, момент идеализации, изображение желаемого, должного действительно присутствует в романе. Глубже всех эту особенность романа понял впоследствии Ленин, писавший, что Чернышевский показал, «каким должен быть революционер, каковы должны быть его правила, как к своей цели он должен идти, какими способами и средствами добиваться ее осуществления»[13].

Герцен же, неудовлетворенный «эстетикой» романа, то есть его «слогом» («...как гнусно написано, сколько кривлянья, что за слог!»), языком («какая жалость, что роман Чернышевского написан языком ученой передней»), не увидел, что идеализация в нем является лишь способом типизации, вполне допускаемым жанром художественно-философского повествования. Впрочем, идеализация в этом своем качестве (один из способов обобщения) возможна, как известно, не только в пределах названного жанра, но и в любых других произведениях, принадлежащих по своей сути к реалистическому методу[14]. Средствами романа Чернышевскому важно было разъяснить сущность социалистического идеала, его привлекательность и неотвратимость. «Гипотетический метод» Чернышевского, справедливо писал Плеханов, «на известной ступени развития социализма <...> был самым лучшим методом разъяснения (все равно, себе или другим) социалистических учений»[15]. Но, как реальный политик, Чернышевский хорошо сознавал трудности его конкретного претворения в русской жизни[16].

---

[13] Ленин В. И. О литературе и искусстве. Изд-е 3, доп., М., 1967, с. 655.

[14] См. об этом: Днепров В. Проблемы реализма. Л., 1960, с. 41—58.

[15] Плеханов Г. В. Соч., М., б/г, т. VI, с. 78. См. также: Лотман Л. М. Социальный идеал, этика и эстетика Чернышевского. — В кн.: Идеи социализма в русской классической литературе. Л., 1969, с. 196—228.

[16] См.: Скафтымов А. П. Художественные произведения Чернышевского, написанные в Петропавловской крепости. — В кн.: Скафты-

Герцен не учитывал всей сложности концепции Чернышевского, очевидно, потому, что ретроспективно переносил на оценку его романа опыт позднейшей эпохи, наступившей после трагического поражения революционеров 60-х гг. в пору поисков новых связей между теорией и развивающейся по своим законам исторической действительностью. В то же время требование следовать объективной закономерности в литературе и других сферах — в философии, социологии, политике составляло сильную сторону теоретической мысли Герцена и основу его критического метода.

Исходя из стремления дать объективную оценку художественного произведения, Герцен проницательно увидел, что роман Чернышевского отражает глубокое понимание законосообразности исторического развития и что социализм осмыслен автором как необходимый результат этого развития. А, с другой стороны, Герцен не без основания заметил и некоторую абстрактность, свойственную идеалу Чернышевского. Действительно, исторический прогресс трактуется в романе и как «результат знания» (Плеханов), что, несомненно, было проявлением идеалистического просветительства, свойственного учению Чернышевского. Другое дело, что Герцен несколько абсолютизировал абстрактные элементы в мировоззрения автора «Что делать?».

Суждение Герцена о «Что делать?» не исчерпываются его прямыми оценками этого романа. Размышления критика о «новых людях» косвенно продолжаются в его статье «Еще раз Базаров» (1868). Эта статья и сопутствующие ей высказывания Герцена о некоторых литературно-критических работах Чернышевского разъясняют не только различие, но и сходство литературно-критических концепций Герцена и Чернышевского.

* * *

В статье «Еще раз Базаров» Герцен, хорошо осведомленный о борьбе критических мнений вокруг «Отцов и детей», выделяет как наиболее примечательную лишь статью Писарева «Базаров» (1863), оспаривая его концепцию философского содержания образа Базарова. Между тем литературно-критический характер статьи Герцена недостаточно раскрыт в нашей науке. Считают, что в ней речь идет не столько о герое Тургенева или его писаревской интерпретации, сколько о «некоторых из деятелей швейцарской «молодой эмиграции» (XX, кн. 2, 789). Это мнение можно принять лишь отчасти. Серьезные разногласия Герцена с «молодой

мов А. Нравственные искания русских писателей. М., 1972, с. 258—259; Володин А. И., Карякин Ю. Ф., Плимак Е. Г. Чернышевский или Нечаев? М., 1976; с. 184—185 и др.

эмиграцией», в том числе и по вопросу о роли передовой дворянской интеллигенции 30—40-х гг. в русском освободительном движении, явились только поводом для появления статьи «Еще раз Базаров». Главная цель Герцена — исследование сущности и истоков «реалистического опытного воззрения», художественно воплощенного в тургеневском Базарове, «крайние пределы» которого отразились в писаревском Базарове: «Базаров для Тургенева больше, чем посторонний, для Писарева — больше, чем свой; для изучения, конечно, надобно взять тот взгляд, который в Базарове видит свой desideratum (идеал — *Г. А.*)». Но, пишет Герцен, «из этого не следует, что он <Писарев. — *Г. А.*> его неверно понял» (XX, кн. 1, 335-336). Иначе — Герцен полагал, что концепция характера Базарова, предложенная Писаревым, при всех собственно писаревских привнесениях («Он в Базарове узнал *себя* и *своих* и добавил, чего недоставало в книге») и разнице оценок, которые отделяли точку зрения Писарева от позиции Тургенева, в целом соответствовала авторской. Исходя из объективного содержания «Отцов и детей», Герцен не только раскрывал философский смысл романа, но и предлагал свою, отличную и от писаревской, и от тургеневской, трактовку нигилизма как мировоззрения. Таким образом, критик выходил за рамки романа к большим философско-публицистическим обобщениям. Именно здесь критический метод Герцена сближался с критическим методом Чернышевского, который отстаивал значение «приговора» не только в литературе, но и в критике, утверждая право истолкователя художественного произведения рассуждать «по поводу» изображенных в нем явлений.

Герцен проницательно считает главным философским центром «Отцов и детей» вопрос о границах свободы человека, осознавшего себя неподвластным абсолютной идее, то есть необходимости [17].

Писаревская апология безграничного самолюбия Базарова, которым, по его словам, «управляет только личная прихоть или личные расчеты» (эти слова цитируются в статье Герцена), представляется Герцену проявлением своего рода романтического максимализма. Приведя в своей статье слова Писарева: «Удовлетворить Базарова могла бы только целая вечность постоянно расширяющейся деятельности и постоянно увеличивающегося наслаждения», — критик иронически пишет: «Последняя фраза мне так и напоминает Карла Мора, Фердинанда и Дон-Карлоса (XX, кн. 1, 336). Если свободу понимать как абсолютную и безграничную

[17] О философском смысле «Отцов и детей» см.: Манн Ю. Базаров и другие. — Новый мир, 1968, № 10; Маркович В. М. О проблематике романа «Отцы и дети». — Известия АН СССР, серия лит-ры и языка, 1971, вып. 6, т. XXX, с. 495—508.

(именно так в своем эгоцентрическом максимализме понимает ее Базаров, а вслед за ним и Писарев), то ее отсутствие или ограничение неизбежно приведет, считал Герцен, к «бесплодному скептицизму, к «надменному «сложа руки», к «отчаянию, ведущему к бездействию». Но бесплодность философского скептицизма («гордого стоицизма») и романтического субъективизма Герцену ясна была еще в 40-х гг. В «Записках одного молодого человека» (1841), в романе «Кто виноват?» (1846), «Докторе Крупове» (1847) он показал, что коренной изъян того и другого воззрения при внешнем их несходстве заключается в преувеличении роли личного начала, свободы, в недооценке логики истории, ее закономерности. В 60-е гг. Герцен особенно остро осознает недостатки антропологической концепции исторического прогресса, тем более, что они свойственны были ему самому как автору «Писем об изучении природы» или «Дилетантизма в науке».

Не случайно, рекомендуя своим детям эти произведения для знакомства с философией, он предупреждал их в письме от 21 (9) апреля 1867 года: «Разумеется, я во многом тогда ошибался» (XXIX, кн. 1, с. 84). Ограниченность антропологической концепции истории Герцен вскрыл и в «Письме о свободе воли» (1867—1869), где предпринята попытка понять человека как результат социально-исторического развития, а саму историю в диалектическом единстве свободы и необходимости. «Если бы я не боялся старого философского языка, я повторил бы, что *история является не чем иным, как развитием свободы в необходимости.* Человеку *необходимо сознавать себя свободным.* Как же выйти из этого круга? Дело не в том, чтоб из него выйти, дело в том, чтоб его понять» (XX, кн. 1, с. 443).

«Старый философский язык» — это язык философии Гегеля, «повторять» который Герцен не хочет, чтобы отграничить свою позицию от воззрений современного ему идеалистического дуализма, разделявшего волю и действие, душу и тело. Правда, до конца преодолеть антропологизм в истории Герцену, как известно, не удалось; он и теперь склонен считать, что «нравственная свобода <...> является реальностью психологической или, если угодно, антропологической» (XX, кн. 1, с. 443). В то же время в гегелевской философской концепции он выделяет рациональное зерно: осознание внутренней противоречивости исторического процесса как непреложной объективной реальности.

В свете всего сказанного становится понятно, почему Герцен полагал, что «Базаровы пройдут <...> и даже очень скоро»: «Болезнь эта к лицу только до окончания университетского курса; она, как прорезывание зубов, совершеннолетию не пристала» (XX, кн. 1, 345). Все разновидности скептицизма, романтического волюнтаризма, субъективного ан-

тропологизма изжили себя и должны уступить место воззрению, основанному на понимании диалектической связи между свободой и необходимостью. Таким воззрением Герцен и считал отличную от «базаровщины» идеологию нигилизма [18].

Если для Писарева да и для Тургенева нигилизм — явление новое, возникшее как реакция на «фразы гегелистов», то Герцен возводил истоки нигилизма к диалектике Гегеля, которая «улетучивала все существующее и распускала все мешавшее разуму» и к «der kritischen Kritik» Фейербаха (XX, кн. 1, 348). Таким образом, мировоззрение прогрессивных деятелей 40-х гг., среди которых Герцен назвал Белинского, Огарева, себя, подготовило, по его мнению, идеологию шестидесятников. Из числа последних выделены прежде всего Добролюбов и Чернышевский, которого в статье «Новая фаза в русской литературе» (1864) Герцен охарактеризовал как «замечательного писателя и самого талантливого из преемников Белинского» (XVIII, 199—200). Герцен не случайно упрекал Г. Н. Вырубова за то, что в своем предисловии (под названием «Позитивизм и Россия») к переводу книги Э. Литтре «Несколько слов по поводу положительной философии» он назвал лишь Герцена и Добролюбова в качестве представителей «отрицательной философии» социалистического направления, не упомянув имени Чернышевского [19]. Итак, по Герцену, для нигилизма 40-х гг. и нигилизма шестидесятников общими были поиски диалектической связи между теорией и практикой, опытом и логикой. Суждения Герцена в статье «Еще раз Базаров», примыкая к его оценкам романа Чернышевского «Что делать?», свидетельствовали о глубоком понимании Герценом философского мировоззрения Чернышевского: пусть не прямо, а косвенно речь шла о том, что и для Чернышевского свойственна была установка на исследование антиномий между субъектом и объектом, свободой и необходимостью, что предполагало признание объективного принципа в познании действительности вопреки всякому односторонне-предвзятому взгляду на нее.

Но был в герценовской трактовке Базарова такой пункт, где явственно обозначилась полемическая заостренность его статьи и против Чернышевского. Герцен видит опасность базаровщины в доктринерстве, как это ни парадоксально: ведь тургеневский герой — непримиримый враг догматов, устояв-

---

[18] В письме к Огареву в мае 1868 г. (точная дата неизвестна). Герцен писал: «Я нарочно разграничил базаровщину с нигилизмом — к нему только отчасти принадлежали Мих<айлов>, Доброл<юбов> и Чернышевский (XXIX, кн. 1, 352).

[19] Герцен А. И. Письмо к Г. Н. Вырубову от 12 ноября (31 октября) 1865 (XXVIII, 113). Речь идет о кн.: Литтре Э. Несколько слов по поводу положительной философии (Пер. Г. Н. Вырубова и Е. В. де Роберти. Предисловие Г. Н. Вырубова. Берлин, 1865, с. XI—XIII).

шихся «принципов». По Герцену, доктринерство Базарова — это не что иное, как следствие свойственного ему позитивистского субъективизма, проявившегося в «пристрастии к однообразию», в преследовании «всякого личного, индивидуального проявления» общественной позиции. Точнее, в статье Герцена речь идет о непонимании исторического «своеобразия, своеобычности» общественного протеста передовой дворянской интеллигенции 40-х гг., ее «слова» и «дела», которые выражались «иначе», чем у Базаровых-Писаревых. Но как раз в решении вопроса о роли передового дворянства в освободительном движении, по мнению Герцена, точки зрения Чернышевского и Писарева во многом сближались. В воображаемом диалоге с Базаровым-Писаревым в статье «Еще раз Базаров» в уста Базарову вкладываются почти те же упреки по адресу поколения 40-х гг., которые обращал к нему же желчевик Даниил в статье Герцена «Лишние люди и желчевики» (1860). Слова Даниила — это, как известно, перефразированные высказывания Чернышевского и Добролюбова о так называемых «лишних людях»[20]. Смысл же упреков Базарова и Даниила общий. «В сущности, наших юношей приводит в ярость то, что в нашем поколении, — пишет Герцен, — выражалась *наша* потребность деятельности, *наш* протест против существующего *иначе,* чем у них, и что мотив того и другого не всегда и не вполне зависел от голода и холода» (XX, кн. 1, 344).

В многочисленной исследовательской литературе о полемике Герцена с революционными демократами по поводу преемственности поколений в освободительном движении не всегда учитываются теоретические разногласия Герцена и Чернышевского, в частности разное понимание ими критерия объективности в подходе к социально-историческим и литературным явлениям[21]. Между тем, здесь следует искать и разъяснения некоторых суждений Герцена о «Что делать?» Как уже говорилось, он упрекал Чернышевского в излишней практической конкретизации социалистического идеала. Тем самым Герцен указал на действительное противоречие в ми-

---

[20] Подробнее об этом см.: Бушканец Е. Г. Кто такой Даниил? — Вопр. истории, 1954, № 11, с. 108—111; Антонова Г. Н. Комментарии к статье «Лишние люди и желчевики» (XIV, с. 572—578).

[21] Козьмин Б. П. Выступление Герцена против «Современника» в 1859 г. — Известия АН СССР, отд. литературы и языка, 1952, вып. 4, т. XI, с. 366—384; Порох И. В. Герцен и Чернышевский. Саратов, 1963, с. 128—169; Усакина Т. И. Статья Герцена «Very dangerous!!!» и полемика вокруг «обличительной литературы в журналистике 1857—1859 гг. — В кн.: Усакина Т. История, философия, литература. Саратов, 1968, с. 250—290; Демченко А. А. Чернышевский и Добролюбов о статье Герцена «Very dangerous!!!» — В кн.: Проблемы формирования реализма в русской и зарубежной литературе XIX—XX веков. Саратов, 1975, с. 37—45.

ровоззрении Чернышевского: противоречие между призывом к трезвому восприятию жизни и элементами просветительского утопизма и рационализма. То же противоречие Герцен отмечал и в трактовке Чернышевским преемственности поколений в освободительном движении.

Если в первой половине 50-х гг. Чернышевский понимал преемственность как «извлечение позитивного опыта» из предшествующего этапа социального, литературно-критического и художественного развития и в то же время различал неоднородность этих этапов[22], то в 60-е гг. момент отрицания предшествующего стал в его концепции преобладающим. Когда на повестку дня выдвинулись новые общественно-политические задачи, критик-демократ пересмотрел свое отношение к принципу объективности, который кажется теперь ему аналогом объективизма, уравнивающего в своих правах прошлое и настоящее: объективный метод, доведенный до своего логического предела, словно бы исключал оценку и тем самым вел к искажению «истины». «По Гегелю или по какому-то другому философу доказывается, что «понять — значит простить», — иронизировал Чернышевский в рецензии на книжку вульгарного исторического экономиста В. Рошера[23]. Это не значит, что критик покинул точку зрения развития. Но в его историзме наряду с материалистическим пониманием закономерностей общественного процесса именно в названные годы наиболее явно обнаружились черты просветительской отвлеченности.

В отличие от Чернышевского для Герцена существенна в истории не только смена одного явления другим, но и внутреннее сходство их, переход от одного к другому. Поэтому он ищет и устанавливает «связи», «степени родства» этих явлений, не упуская из виду и границы их исторически обусловленных различий. В основе герценовского взгляда на историю и общественный прогресс лежал глубоко осмысленный закон отрицания отрицания, принцип объективности, который сам Герцен называл «изучением и обдумыванием sine ira et studio», способностью «принять» и понять предыдущие «фазы и ступени развития» в их внутренней целесообразности и необходимости. Если в первой половине 50-х гг. критик подчеркивал в основном лишь внутреннее родство разных поколений в освободительном движении, то теперь традиция понята сложнее: не только как удержание новым

---

[22] Макаровская Г. В. Пушкин в оценке Чернышевского (Проблемы историзма в литературно-критической концепции Чернышевского середины 50-х годов). — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Саратов, вып. 8, 1978, с. 58—111.

[23] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти т., М., т. VII, 1950, с. 975.

элементов отжившего старого, но и как отрицание новым старого[24].

В сфере искусства такая позиция означала признание непреходящего эстетического смысла художественных произведений, принадлежавших прошлому, отказ от обязательного применения к ним современных критериев. В своих работах 60-х гг. Герцен утверждал неповторимость, «вечное» значение сменяющихся явлений искусства, например, античного, создавшего «великий, единый идеал свой — красоту человеческого тела» (XVIII, 76) или творений Шекспира. Вот почему Герцен не мог согласиться с тезисом Чернышевского о том, что в поступательном развитии искусства каждая новая стадия выше последующей. «Мы беспристрастны к давно прошедшему: зачем же так долго медлить признавать и недавно прошедшее веком высшего, нежели прежнее, развития поэзии? Разве ее развитие не идет рядом с развитием образованности и жизни?», — писал критик в статье «О поэзии. Сочинение Аристотеля» (1854)[25].

Такого рода суждения представлялись Герцену проявлением «скудного утилитаризма», о чем он писал Огареву 17—18 мая 1868 г., перечитав эту статью Чернышевского в первом томе его сочинений в женевском издании М. Элпидина. «Черныш<евского> 2-ой том одолел (кроме диссертации), одна первая статья хороша — да и то вздор о науке как о дойной корове. Корова доит — но помимо еще она корова an sich. Ведь это скудный утилитаризм. Остальное плохо»[26] (XXIX, кн. 1, 341). Утилитарным казался Герцену тезис, содержащийся в статье «О поэзии. Сочинение Аристотеля. Перевел, изложил и объяснил Б. Ордынский», о прикладном значении науки, цель которой, по Чернышевскому, улучшать «понятия, а потом нравы и жизнь людей». Элементы просветительского понимания литературы Герцен находил, очевидно, и в других литературно-критических сочинениях Чернышевского, вошедших в первый том его сочинений. Среди них: «Песни разных народов. Пер. Н. Берга», «Об искренности в критике», «История России с древнейших времен. Соч. С. Соловьева» и другие.

---

[24] Так, в письме к И. С. Тургеневу от 10 апреля 1864 г., признавая исчерпанной роль дворянской интеллигенции 30—40-х гг., критик заметил: «Наше дело, может, кончено». В черновом варианте эта же мысль звучала еще более определенно: «Может, надобно новые силы, новые лица — мы охотно передадим [«детям» отцовское дело» (XXVII, кн. 2, 454—455, 836]. В словах этих заключена мысль о подвижности, диалектичности хода общественного развития.

[25] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 16-ти т. М., 1949, т. II, с. 283—284.

[26] Герцен ошибочно назвал вторым первый том Сочинений Н. Г. Чернышевского (Vevey, изд-е М. Элпидина и К°, 1868), куда вошла его критика и публицистика 1853—1855 гг. Первым он, вероятно, считал издание «Что делать?», вышедшее на самом деле отдельно.

Впрочем, нельзя не учитывать того обстоятельства, что слова Герцена были произнесены в запальчивости, вызванной полемикой с «молодой эмиграцией»: Герцен, очевидно, был не удовлетворен той сугубо практической трактовкой литературно-теоретического наследия Чернышевского, которая содержалась в предисловии к его сочинениям [27]. «Литературная и научная критика служила ему, — говорилось в этом предисловии, — средством к возбуждению в обществе интереса к явлениям общественной жизни; для достижения этой цели Чернышевский пользовался всем — речью г. Соловьева на юбилее Московского университета, переводами г. Берга, рассуждением Ордынского...» [28]. Борясь с проявлением утилитаризма и позитивизма, в том числе и в статьях Писарева о литературе, Герцен, как бы перефразируя слова Базарова о «мастерской», в которую превращает человек природу, писал: «Горе бедному духом и тощему художественным смыслом перевороту, который из всего былого и нажитого сделает скучную *мастерскую* (курсив мой. — *Г. А.*), которой вся выгода будет состоять в одном пропитании и только в пропитании» (XX, кн. 2, 581).

В то же время статью Чернышевского «О поэзии» критик выделял среди других, полагая, что она «хороша». По всей вероятности, Герцену не могла не импонировать высказанная в этой статье мысль о познавательном назначении искусства, о его «философском достоинстве». Достаточно вспомнить определение сущности искусства, принадлежащее Герцену: «искусство — наука, спаянная со страстью» [29]. Общей для Герцена и Чернышевского была, таким образом, убежденность в действенной силе искусства, включающего единство объективного и субъективного начал. Кроме того, оба, исходя из познавательной сущности искусства, допускали проникновение в художественный образ осознанной философско-публицистической мысли [30].

В свете всего сказанного можно предположить, что недовольство, которое выразил Герцен по поводу «эстетики»

---

[27] В задачи настоящей статьи не входит сопоставительный анализ эстетических воззрений Герцена и Чернышевского. Касаемся этой стороны вопроса лишь постольку, поскольку высказывания Герцена проясняют его оценку «Что делать?».

[28] Чернышевский Н. Г. Соч., Vevey, 1868, т. 1, с. II.

[29] Письмо Герцена к Э. Рив от 20 (8) сентября 1860 г. (XXVII, кн. 1, 98).

[30] О некоторой общности литературно-теоретических положений Герцена и Чернышевского см.: Лищинер С. Д. Эстетический идеал А. И. Герцена и вопросы искусства. — В кн.: Эстетика и искусство. Из истории домарксистской эстетической мысли. М., 1966, с. 217—221; Эйдельман Н. Я. К истории лондонской встречи Чернышевского с Герценом (Дарственная надпись на книге «Эстетические отношения искусства к действительности»). — В кн.: Чернышевский и его эпоха. М., 1979, с. 116—117.

(поэтики) «Что делать?», относилось не к его жанру, социально-философскому по своей сути, а к способу выражения авторской позиции в романе. «Что за представитель семинарии и Васильевского острова!» — восклицал Герцен. Васильевский остров, как известно, — средоточие науки, научных учреждений. Очевидно, Герцен имел в виду действительно присущие роману «Что делать?» приметы просветительской преднамеренности, авторской назидательности.

Подведем итоги. Герценовская оценка «Что делать?» заслуживает пристального внимания, выявляя сходство и различие литературно-теоретических воззрений Герцена и Чернышевского. Герцен приветствовал этот роман, справедливо увидев в нем стремление к объективному обоснованию возможности достижения социалистического идеала. В то же время критик проницательно заметил элементы утопизма, проявившиеся в романе Чернышевского. Правда, Герцен игнорировал тот факт, что «гипотетический метод» или «метод идеализации» явился не теоретическим промахом, но сознательной установкой автора романа, считавшего важным разъяснить, каким должен быть социалистический идеал — неотвратимая цель общественного развития. Спор с Чернышевским продолжался и в полемике Герцена с писаревской трактовкой Базарова. Протестуя против апологии базаровского максимализма, Герцен снова предупреждал о вреде всякого рода субъективизма как просветительского, так и позитивистского толка в понимании перспектив социального прогресса. Вера в неисчерпаемые возможности разума, науки, человеческой натуры представлялась Герцену недостаточной: он настойчиво обращал внимание на необходимость постижения объективных противоречий жизни. В споре о роли дворянского поколения в освободительном движении также выявилась известная разница философских посылок, лежащих в основе критики Герцена и Чернышевского. Метод Герцена с его установкой на объективное исследование, понимание преемственных связей в социальном и литературном развитии был исторически перспективен. Но в 60-х гг., в преддверии революционной ситуации реальная правота оказалась на стороне Чернышевского: настаивая на размежевании, он исходил из конкретных требований своего времени.

Общность и различие точек зрения Герцена и Чернышевского прослеживается и в их трактовке связи субъективного и объективного начал в литературе, границ между наукой и литературой. Герцен не принял «эстетику» «Что делать?», так как сознательный рационализм в выражении авторской позиции принял за нарушение диалектики субъективного и объективного начал в художественном строе романа. Герцен отнюдь не исключал авторской тенденциозности в социально-философском жанре, но полагал, что намерения автора долж-

ны быть скрыты так, чтобы «нитки», соединяющие мысли, не слишком выступали наружу. Здесь проявилось и различие оттенков в литературно-эстетических воззрениях обоих критиков. И Герцен, и Чернышевский ратовали за объективно-полное изображение действительности в искусстве. Но Чернышевский акцентировал подчиненную по отношению к действительности и даже науке функцию искусства, а Герцен, ни в коей мере не отрицая зависимости искусства от своего главного источника — жизни, утверждал «самоценную», исторически непреходящую сущность его.

В настоящей статье мы затронули далеко не все грани литературно-теоретических воззрений Герцена и Чернышевского в 60-е годы. Сравнительный анализ их суждений должен быть продолжен с привлечением, в частности, высказываний критиков о жанре социально-философской прозы как в русской, так и зарубежной литературе. Тем самым прояснится малоисследованный и важный вопрос о роли Герцена в развитии русской философско-публицистической критики.

В. Н. КОНОВАЛОВ

ЭСТЕТИКА ЧЕРНЫШЕВСКОГО И ДОБРОЛЮБОВА НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «СЛОВО»

Наследие революционеров-демократов — активно действующий элемент нашей сегодняшней культуры. «Перспективы, открытые временем» (Б. Ф. Егоров), задачи идеологической борьбы, развитие современной эстетической мысли — все это вновь и вновь стимулирует интерес к традициям революционно-демократической критики. Об этом свидетельствуют специальные обсуждения различных аспектов ее эстетического и художественного наследия на страницах журнала «Вопросы литературы» в 1973—1977 гг., публикации, посвященные 150-летию со дня рождения Н. Г. Чернышевского, вышедшие в последние годы монографии. «Дальнейшее изучение этого наследия, — справедливо отмечает С. Машинский, — является одной из первейших задач нашей современной литературной науки»[1].

Важным аспектом такого изучения стал анализ социально-эстетического функционирования идей Н. Г. Чернышевского в разные исторические эпохи, так как восприятие этих идей открывает новые грани революционно-демократической эстетики, что позволяет, по словам В. И. Ленина, хранить наследство «не так, как архивариусы хранят старую бумагу»[2], а использовать и развивать его в новых исторических условиях. Эстетика революционеров-демократов — это динамическая система, ее внутренние свойства реализуются в процессе конкретно-исторического функционирования, изучение его актуально и для современного литературоведения, особенно для выявления несостоятельности «внесоциальной

[1] Машинский С. Опыт, уроки, перспективы. — Вопр. литературы, 1977, № 5, с. 215.

[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 2, с. 542.

эклектики и путаницы, которая имела место в трактовке проблем наследия»[3]. Именно поэтому факты борьбы вокруг идей Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова интересны не только как эпизоды литературной жизни, но и своим методологическим потенциалом.

С этой точки зрения важно проследить, как использовалось в контексте общественной и литературной борьбы 70-х гг. XIX в. наследие Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова на страницах журнала «Слово» (1878—1881). С этим журналом связана, как отмечает Е. Г. Бушканец, «одна из самых ярких и в то же время наименее изученных страниц истории русского литературного народничества»[4]. Действительно, литература об этом журнале весьма немногочисленна. Еще в 30-е гг. «внешняя судьба» «Слова» была прослежена в книге В. Е. Евгеньева-Максимова и Д. Максимова «Из прошлого русской журналистики». В последние годы интересные материалы об этом журнале опубликованы в статье К. С. Тунаковой[5] и в ряде статей Е. Г. Бушканца[6]. Однако до настоящего времени не изучены в полной мере общественная и литературная позиция и эволюция журнала, не определена его роль в журналистике 70-х гг.

Состав сотрудников и ориентация журнала позволяют с уверенностью отнести его к левому флангу русской журналистики конца 70-х гг. XIX в. В нем сотрудничали такие писатели и поэты, как П. В. Засодимский, Н. Н. Златовратский, Н. И. Наумов, Н. С. Курочкин, В. Г. Короленко, А. И. Эртель. Как показали исследования В. Е. Евгеньева-Максимова и Е. Г. Бушканца, активное участие в журнале принимали многие видные деятели революционного народничества, например, Д. А. Клеменц, Н. В. Чайковский, Н. И. Кибальчич, П. Л. Лавров, С. Н. Кривенко и др. Обзоры зарубежной жизни писали А. Лео и Жакляр, бывшие активные участники Парижской Коммуны. В журнале помещались многочисленные повести и рассказы о деревенской жизни («Кто во что горазд» П. В. Засодимского, «Странные люди» Н. Н. Златовратского), с сочувствием изображались искания молодого поколения («Идеалистка» А. Н. Стацевич, «На чис-

---

[3] Кузнецов Ф. Вечно живые заветы. — Вопр. литературы, 1979, № 12, с. 123.

[4] Бушканец Е. Г. И. С. Тургенев и журнал «Слово». — В кн.: Русские писатели и народничество. Горький, 1977, вып. 2, с. 91.

[5] Тунакова К. С. М. А. Антонович в журнале «Слово». — В кн.: Русская литература и освободительное движение. Казань, 1975, вып. 6.

[6] Бушканец Е. Г. Журнал «Слово» и царские жандармы. — В кн.: От «Слова о полку Игореве» до «Тихого Дона». Л., 1979; Революционеры 70-х годов и журнал «Слово». — В кн.: Русская литература и освободительное движение. Казань, 1970, вып. 2; О литературном наследии Н. Кибальчича. — В кн.: Страницы истории русской литературы. М., 1971.

тоту» И. И. Ясинского), много внимания уделялось экономическому укладу жителей национальных окраин. («Лесное царство» П. В. Засодимского — о быте зырян, «Очерки быта мордвы» В. И. Майкова и др.). В научном отделе систематически публиковались статьи Н. Зибера, где популярно излагались основные положения экономической теории К. Маркса[7]. Единым фронтом с «Отечественными записками» журнал «Слово» выступал против реакционной и либеральной журналистики.

Одним из главных в журнале был литературно-критический отдел, в котором в разное время сотрудничали такие известные критики и публицисты демократического лагеря, как М. А. Антонович, С. А. Венгеров, М. К. Цебрикова, С. С. Шашков и др., опиравшиеся на демократическую критику 60-х гг. XIX в. Правда, в составе редакции «Слова» не было единства, его позиция в общественно-политической и литературной борьбе была противоречива. Часть влиятельных сотрудников (Д. А. Коропчевский, Е. В. де Роберти, П. Д. Боборыкин, И. И. Ясинский, Б. Онгирский и др.), ориентируясь, как указывалось в программе, «на образованных читателей, которые желают следить за ходом современной науки»[8], пытались ограничиться в основном просветительскими задачами и опираться в критике на «начала научной эстетики». Обосновывая свои взгляды, они тоже не могли не выразить своего отношения к принципам реальной критики, поэтому оценка эстетических идей Чернышевского и Добролюбова приобрела в журнале особую остроту.

Важный эпизод этой борьбы связан с участием в журнале одного из ближайших соратников Н. Г. Чернышевского М. А. Антоновича.

М. А. Антонович вошел в редакцию «Слова» как руководитель литературно-критического отдела. Он пытался воздействовать на направление всего журнала и превратить его в орган, подобный «Современнику». Это ему не удалось, и уже после выхода третьего номера он порывает с журналом, мотивируя свой уход отсутствием в «Слове» четко выдержанного направления и стремлением редакции избегать обсуждения актуальных проблем внутренней жизни. В свою очередь редакция «Слова» обвинила М. Антоновича в стремлении единолично распоряжаться всеми отделами журнала и постепенно заменять прежних сотрудников своими людьми. Этот эпизод литературной борьбы 70-х гг. привлекал внимание ряда исследователей (В. Е. Евгеньева-Максимова, В. Н. Чубинского, К. С. Тунаковой). Остановимся на нем, чтобы вы-

[7] См. об этом: Володин А. И. «Анти-Дюринг» Ф. Энгельса и общественная мысль в России 19 в. М., 1978, с. 148—164.

[8] Слово, 1878, № 1, с. 1.

яснить, в каком плане опирался М. А. Антонович на традиции «Современника» и на наследие Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова.

Из пяти статей, опубликованных Антоновичем в «Слове», особый интерес представляют две: «Современное состояние литературы»[9] и «Причины неудовлетворительного состояния нашей литературы»[10], так как они носят программный характер.

Не касаясь всех проблем, затронутых в этих статьях, отметим лишь, что эпоха «Современника» была для Антоновича золотым веком русской журналистики и критики, своеобразным эталоном ее современного состояния. Не случайно он соотносил явления критики и литературы 70-х гг. с критикой «Добролюбова и его друзей», выделяя прежде всего то, в чем современная литература, по его мнению, отступила от этих традиций.

Он отмечал снижение действенности и гражданской ответственности литературной критики, которая не защищает высоких идей, «не старается наводить читателя на верное понимание вещей и дел»[11], разменивается на мелочные обличения, предпочитает обходить острые вопросы современной жизни. Такой «квиэтизм» создает, по его мнению, предпосылки для оживления теорий чистого искусства, сторонники которых раньше, в 60-е гг., «принуждены были сидеть в щелях, потому что всякая вылазка их оттуда была энергично отражаема»[12]. С тревогой пишет Антонович о проникающем в литературу яде меркантилизма. Если раньше тон в литературе задавали кружки, «объединенные одинаковым духом и стремлениями», то теперь все чаще «вокруг литературного антрепренера собираются литераторы, которые совершенно чужды друг другу и имеют между собой только ту связь, что они служат, да и то непостоянно, у одного хозяина»[13].

С особой страстностью защищал Антонович наследие Чернышевского и Добролюбова от многочисленных попыток преуменьшить или исказить их роль в развитии передовой русской литературы и общественной мысли. В статье «Причины неудовлетворительного состояния нашей литературы» он возобновляет полемику с Тургеневым, опубликовавшим в 1869 г. «Воспоминания о Белинском», где была сделана попытка противопоставить Белинского шестидесятникам. Против тургеневских нападок на руководителей «Современника» Антонович протестовал еще в 1869 г. в статье «Новые материалы для биографии и характеристики Белинского», а в

---

[9] Слово, 1878, № 1.
[10] Там же, № 2.
[11] Там же, № 1, с. 18.
[12] Там же, с. 5.
[13] Там же, с. 3.

«Слове» он в более резкой форме осуждает Тургенева, объясняя его отношение к Чернышевскому и Добролюбову личной неприязнью, «чувством досады на людей, омрачивших свет его славы» [14]. Антонович не только опровергает Тургенева, но и бросает тяжелое обвинение в сознательном нарушении неписанного закона литературной жизни: не нападать на тех, кто не может «по независящим обстоятельствам» ответить на обвинение. «Тургенев превратился, наконец, в беллетристического черкеса, бьющего лежачих, не им поваленных, и убивающего раненых, получивших раны не от него» [15]. Резкий тон этого осуждения был, видимо, вызван не только старым, идущим еще со времен «Современника», враждебным отношением к автору «Отцов и детей», но и тем, что высказанная в «Воспоминаниях о Белинском» точка зрения была в 70-е гг. подхвачена консервативной и либеральной критикой. В противовес этим мнениям Антонович утверждает преемственность в развитии передовых идей, так как именно «Добролюбов с товарищами» были настоящими продолжателями Белинского, «они начали как раз с того, на чем он остановился... они расширили идеалы Белинского, сообщили им большую определенность» [16]. Мало того, критик «Слова» в полный голос заявляет, что идеи вождей 60-х гг. сохранили свою жизненность и в новых исторических условиях: «Идеалы и идеи их живут и теперь в некоторой части общества» [17]. Если учесть, что это писалось в программной по замыслу автора статье и в то время, когда имя Чернышевского было под запретом, то нельзя не отметить благородства Антоновича и его гражданского мужества.

В связи с этим следует остановиться еще на одном аспекте статьи, важном и для ее понимания, и для характеристики общественно-политической позиции «Современника». Антонович, как отмечалось, считал 70-е гг. отступлением от традиций начала 60-х гг., но содержание его статей в «Слове» нельзя рассматривать как вариацию на мотив «Богатыри не вы». В статье «Современное состояние литературы» он подводит читателя к мысли о необходимости борьбы за высокие идеалы: «Уж если бороться, так бороться не с пустяками и мелочами и бороться на жизнь и смерть; уж если вести войну, так вести до конца, пока чего-нибудь не добьешься, и не класть оружия до тех пор, пока противник не покорится совсем» [18].

Именно с этой целью Антонович пытается повлиять на направление «Слова», говорит о необходимости объединения

---

[14] Там же, № 2, с. 79.
[15] Там же, с. 83.
[16] Там же, с. 84.
[17] Там же.
[18] Там же, № 1, с. 24.

демократических сил в журналистике и, несмотря на прежние расхождения, поддерживает Михайловского в его полемике с сотрудником «Слова» де Роберти. В статье «Несколько слов о Н. А. Некрасове» он высоко оценил творчество и редакторскую деятельность Некрасова, отношения с которым у критика, как известно, не всегда складывались гладко. Оценка Некрасова дается опять-таки через призму 60-х годов: все лучшее в его наследии связывается с тем, что «новые и свежие идеи» «Добролюбова и его друзей» имели «благотворное влияние на развитие собственных взглядов Некрасова, а, следовательно, и на его поэзию»[19]. Для самолюбивого и бескомпромиссно-прямолинейного Антоновича такие попытки к сближению значили немало, но его позицию можно лучше понять, если обратить внимание на философскую концепцию статьи, которая явно перекликается с некоторыми положениями статей Чернышевского и Добролюбова, касающихся цикличности исторического прогресса[20]. Антонович пишет, что исторический процесс можно рассматривать с макроскопической и микроскопической точек зрения. С «макроскопической» точки зрения он предстает логичным и независимым от случайностей, а при «микроскопическом» анализе оказывается, что он состоит из отдельных моментов, для каждого из которых «имели большое влияние разные случайности и внешние обстоятельства» (таким моментом, по Антоновичу, были 60-е годы: это была вспышка и, как он пишет, Чернышевский и Добролюбов понимали, что «еще не время торжествовать победу... это дело далеко еще не кончено, что оно только еще начинается») [21]. Но трезвая оценка ситуации не ослабляла их энергии, а, напротив, «доводила ее до лихорадочной спешки и не знавшей отдыха торопливости; они торопились ковать железо, пока оно горячо, спешили воспользоваться временем вспышки и сделать хоть что-нибудь прочное, пока оно не прошло; посадить хоть несколько семян, которые могли бы прорастать и в неблагоприятные времена, когда теплота одушевления пропадет»[22].

Эта характеристика не является, конечно, исчерпывающей, но она, несомненно, восходит к периоду сотрудничества Антоновича в «Современнике», отражает одну из сторон деятельности Чернышевского и Добролюбова, и в ней подчеркивается героическая, возвышенная сторона эпохи революционного

---

[19] Там же, № 2, с. 121.

[20] Эта проблема привлекает в последнее время внимание многих исследователей и вызывает оживленную дискуссию. См.: Водолазов Г. Г. От Чернышевского к Плеханову. М., 1967; Володин А., Карякин Ю., Плимак Е. Чернышевский или Нечаев? М., 1976; Пинаев М. Т. Зоркость и предвидение художника-мыслителя. — Наш современник, 1978, № 11.

[21] Слово, 1872, № 2, с. 86.

[22] Там же, с. 87.

подъема. Сам Антонович верил, что семена, посаженные его учителем, дадут всходы и по мере сил пытался способствовать этому.

Правда, попытка его не увенчалась и не могла увенчаться успехом. Он не без основания считал себя верным учеником Чернышевского и Добролюбова, был предан их памяти, но к нему вполне применимы слова Г. В. Плеханова о тех последователях Н. Г. Чернышевского, которые, «строго держась каждой буквы его писаний, утратили всякое понятие об их духе» [23]. Антонович верно подметил некоторые негативные явления русской литературы и общественной жизни 70-х гг.: снижение уровня теоретической мысли, отсутствие единства в демократическом лагере, внедрение в литературу буржуазного меркантилизма. Он по-своему последовательно и бескомпромиссно защищал идеи Чернышевского и Добролюбова, пропагандировал их эстетическое и литературно-критическое наследие. Однако его категорические заявления, что «на литературную арену валятся целые горы зловония и заразительной грязи и никто не принимает против этого никаких санитарных мер» [24], были несправедливыми. Литература этого периода, как известно, не стояла на месте, а что касается «гор зловония», то их удалением с литературной арены активно занималась демократическая критика 70-х годов.

Не случайно статьи Антоновича в «Слове» были неоднозначно оценены передовой критикой. Например, Н. К. Михайловский в мартовском номере «Отечественных записок» за 1878 г., воздав должное добропорядочности и принципиальности Антоновича, не согласился с его мнением об упадке современной литературы. Михайловский справедливо отметил, что априорно такие выводы делать нельзя, так как меняется и жизнь, и литература, и читатель, поэтому нужны не формальные сопоставления, а учет всех тенденций. По словам Михайловского, «голый факт понижения уровня беллетристики нельзя не признать. Но он свидетельствует о росте мысли, уяснении идеалов, сближении литературы с жизнью. В выработке этого результата, конечно, принимали косвенным образом, огромное участие и «Добролюбов и его друзья», за что им вечная благодарность. Но не трудно видеть, что история на них не остановила своего течения, что рост мысли и выяснение идеалов безостановочно продолжаются» [25].

Таким образом, обращение Антоновича к наследию Чернышевского и Добролюбова представляет в контексте лите-

---

[23] Плеханов Г. В. Избр. философ. произв. М., 1956, т. 1, с. 173.
[24] Слово, 1878, № 1, с. 19.
[25] Михайловский Н. К. Соч. в 6-ти т. СПб., 1897, т. IV, с. 516.

ратурной и общественной борьбы 70-х гг. большой интерес, так как дает возможность проследить один из аспектов восприятия идей шестидесятников в эту эпоху. М. Антонович был, несомненно, убежденным приверженцем Чернышевского и Добролюбова, но в его статьях, опубликованных в «Слове» (как и в других критических выступлениях 60—70-х гг.), проявилась опасная тенденция к догматическому, прямолинейному истолкованию идей своих учителей, что, помимо желания Антоновича, оказывало дурную услугу демократической критике 70-х гг., а его самого обрекало на одиночество.

После ухода Антоновича из журнала, в критическом отделе «Слова» стали появляться статьи, которые ориентировали читателей на совершенно иной подход к литературе и критике и на иную оценку эстетического наследия прошлого. Наиболее четко стремление пересмотреть традиции реальной критики под флагом «научности» прослеживается в статьях П. А. Боборыкина. В 60-е гг. Боборыкин, тогда еще начинающий драматург, прозаик и издатель, был сторонним наблюдателем бурных общественных событий. В воспоминаниях «За полвека» он так определяет свою позицию тех лет: «Я был — прежде всего и сильнее всего — молодой писатель, которому особенно дороги: художественная литература, критика, научное движение, искусство во всех его видах»[26]. Идей Чернышевского Боборыкин не разделял и не понимал ни в 60-е гг., ни впоследствии, хотя в 70-е гг. он сотрудничал в ряде демократических журналов, в том числе в «Отечественных записках». Либеральная настроенность, отсутствие четкой позиции в литературной и общественной борьбе вызывали к нему настороженно-ироническое отношение Щедрина, Михайловского, Ткачева. Михайловский писал, что Боборыкин «увлекается разными течениями, совершенно как щепка волной, что отражается и в его публицистике»[27].

Уже в первой статье Боборыкина «Мысли о критике литературного творчества»[28] отчетливо проявляется его расхождение с методологическими принципами демократической эстетики 60-х гг. В отличие от реакционной критики, Боборыкин не отрицает огромной роли Чернышевского, Добролюбова, Писарева в общественной жизни и литературе 60-х гг. Он признает, что критика этого направления была самым заметным явлением литературной жизни своего времени, она «положительно прогрессировала, вырабатывала свои приемы... говорила глубже и смелее о наших общественных неудачах, ратовала все энергичнее за свои умственные, нрав-

[26] Боборыкин П. А. Воспоминания. М., 1965, т. 1, с. 274.
[27] Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная смута. СПб, 1900, т. 1, с. 115.
[28] Слово, 1878, № 5.

ственные и социальные идеалы»[29]. Однако для понимания специфики художественного творчества статьи Чернышевского и Добролюбова, по мнению Боборыкина, не имели значения, так как в них якобы не было «настоящей научной подкладки»; мало того, они «отвлекали внимание публики совсем в другую сторону, к общественной и нравственной стороне произведений»[30]. Боборыкин, таким образом, пытался превратить критику 60-х гг. в явление прошлого, потенциал которого полностью исчерпан: «общие понятия, точки отправления, слова, термины — все должно быть обновлено или, по меньшей мере, проверено выводами точного знания»[31].

Что же предлагает взамен сам Боборыкин? Путь обновления критики он видит в науке и научном мышлении. Опираясь на физиологию и психологию, критика должна выработать четкое представление о психологии творчества и эстетической реакции и в соответствии с этим разработать объективные приемы анализа, которые должны стать своеобразной реконструкцией творческого акта, включающего, «кроме логической работы», и «осложнения аффективного, страстного характера, и способность внутреннего воспроизведения, т. е. вызывания в мозгу накопившихся восприятий»[32]. С помощью этих же критериев можно определить и психологическую верность художественных образов. Критик должен соотнести слова и поступки персонажей с теми словами и поступками, которые, по «научным» законам, «должны были, в действительности, бродить в мозгу действующего лица или прорываться наружу»[33]. Задача критики сводится к тому, чтобы в соответствии с этими критериями «особенности творчества Пушкина, Гоголя, Тургенева, Гюго или гр. Л. Н. Толстого были расчленены, разбиты по группам и отделам»[34]. Анализ стиля художественного произведения тоже сводится Боборыкиным к формальному расщеплению текста. В статье «Беллетристы старой школы» он дает «образец» такого анализа: он приводит отрывок из повести Хвощинской, подробно анализирует каждую фразу, даже каждое слово и делает вывод, что мастерство этого отрывка «держится на перечислении существительных с прибавкой кое-где коротких эпитетов и штрихов, указывающих на экспрессию или направление»[35]. Предлагаемая им методика чем-то напоминает структуралистский замкнутый микроанализ текста.

---

[29] Слово, 1878, с. 61.
[30] Там же, с 60.
[31] Там же, с. 66.
[32] Слово, 1879, № 7, с. 9.
[33] Там же, с. 17.
[34] Слово, 1878, № 5, с. 67.
[35] Слово, 1879, № 7, с. 12.

«Научная эстетика» Боборыкина не является его собственным изобретением. Как раз в эти годы были опубликованы работы Л. Е. Оболенского («Физиологическое объяснение некоторых элементов чувства красоты»), В. Вельямовича («Психофизиологические основания эстетики»), в которых обосновывались принципы «научной» эстетики; в ряде журналов (в том числе в «Слове») пропагандируются «экспериментальные романы» Э. Золя и эстетические принципы натурализма.

Само по себе требование научности, объективности, использования данных наук не противоречило реалистической эстетике (вспомним, например, диссертацию Н. Г. Чернышевского, теорию реальной критики Н. А. Добролюбова и т. п.). Однако демократическая критика 70-х гг. не случайно дружно выступила против натурализма и «научной» эстетики. П. Н. Ткачев в статьях «Принципы и задачи реальной критики»[36], «Эстетическая критика на почве науки»[37], «Ликвидация эстетической критики»[38] показал, что «научная критика» — это возрождение под новым названием эстетической критики, глубоко враждебной реалистическому направлению В. Г. Белинского и Н. А. Добролюбова. Н. К. Михайловский в статье «Экспериментальный роман»[39] резко выступил против «экспериментальной поэтики» французского натурализма, резонно отметив, что в ней общественное содержание произведения становится «посторонней примесью», ведет к отказу от традиций демократической критики.

Верность этих выводов подтверждается статьями самого П. А. Боборыкина. В большой работе «Островский и его сверстники»[40] он пересматривает добролюбовскую оценку творчества Островского. По мнению П. А. Боборыкина, Н. А. Добролюбов в «духе утилитарной школы» использовал «ложный прием»: он «совершенно устранил какое бы то ни было изучение нашего драматурга как сценического писателя», прокомментировав его произведения лишь с публицистической точки зрения»[41]. П. А. Боборыкин призывает очистить театр Островского «от всех подобных соображений»: «Нам следует теперь показать его внутренний склад, свести работу автора к известным процессам творчества»[42]. Он и пытается это сделать. О его «научной» методологии можно судить по ее результатам: П. А. Боборыкин не смог понять

---

[36] Дело, 1878, № 8.
[37] Там же, № 12.
[38] Дело, 1879, № 5.
[39] Отечественные записки, 1879, № 9.
[40] Слово, 1878, № 8—10.
[41] Там же, № 8, с. 1.
[42] Там же, с. 15.

новаторства драматургии Н. А. Островского, в котором он увидел лишь плодовитого автора «жанровых картин из купеческого быта», не оказавших влияния на развитие русского театра. По его мнению, репутация обличителя «темного царства» была создана Н. А. Островскому Н. А. Добролюбовым, который, как считает П. А. Боборыкин, сбил драматурга с пути объективного художественного изображения. Эту оценку Н. А. Островского и Н. А. Добролюбова П. А. Боборыкин почти буквально повторил в мемуарах «За полвека», еще сильнее подчеркнув «пагубное» влияние критика: «Островский под влиянием критических статей Добролюбова стал смотреть на себя как на изобличителя купеческого «темного царства». В первых своих вещах он был более объективным художником. А позднее — в целом ряде комедий — он только смеялся над своими купцами и купчихами и редко забирал глубже»[43].

В статьях П. А. Боборыкина проявилась несостоятельность попыток объявить критику Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова чисто публицистической, утратившей свое значение и противопоставить ей подкрашенные с фасада под научность и объективность старые эстетические концепции.

На страницах «Слова» делались попытки и иного рода: обосновать позитивистскую «научную эстетику», опираясь на авторитет Чернышевского и Добролюбова. Показательна в этом отношении статья Д. А. Коропчевского «Физиологические основы поэзии»[44]. Он с уважением отзывается о демократической критике 60-х гг., которая нанесла сильный удар направлению «искусство для искусства», и утверждает, что поэзия должна идти «рука об руку с современным умственным и нравственным развитием общества»[45]. Д. А. Коропчевский, несомненно, имеет в виду диссертацию Н. Г. Чернышевского, когда пытается обосновать принципы эстетического отношения искусства к действительности. Однако сведение эстетических потребностей к физиологическим началам, игнорирование социальной обусловленности эстетического чувства лишает теорию Коропчевского подлинно научной основы. Его утверждение, что «эстетически прекрасное должно доставлять нам максимум возбуждения при минимуме утомления»[46], достаточно красноречиво само по себе. И не случайно тезис Чернышевского об искусстве как учебнике жизни заменен призывом «удовлетворять запросам передовой части общества в области чувств»[47].

---

[43] Боборыкин П. А. Воспоминания, т. 1, с. 295.
[44] Слово, 1878, № 9—10.
[45] Там же, с. 197.
[46] Там же, с. 166.
[47] Там же, с. 197.

Правда, тогда, когда Коропчевский обращается к проблемам текущего литературного процесса, он оказывается к идеям шестидесятников ближе, чем в своих теоретических построениях. В статье «Роль критики в современной литературе»[48] он утверждает, что «содержание и тон произведения дается самой жизнью»[49], призывает критику вернуть себе высокий авторитет, которого она достигла в лице Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Даже упрек в том, что современная критика лишена «научной подкладки» и «не заботится о выработке теоретических начал для своих суждений» представляется в принципе справедливым.

Противоречивое отношение к эстетическому наследию шестидесятников, особенно Н. Г. Чернышевского, характерно и для авторов некоторых других теоретических статей, например для И. И. Ясинского в статье «Единство творческого процесса»[50].

Д. А. Коропчевский, И. И. Ясинский субъективно не были противниками реалистической эстетики и по-своему стремились совместить эстетическую теорию Чернышевского с достижениями современного им естествознания. Но в их работах наблюдается отход от цельного философского материализма Чернышевского и размывание социально обусловленных эстетических потребностей человека.

В то же время следует подчеркнуть, что обращение к наследию шестидесятников на страницах «Слова» происходило и безотносительно к спорам по эстетическим проблемам. Для демократических публицистов «Слова» Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов — учителя, своеобразный эталон критиков и журналистов. Например, Е. Н. Клеменц (Топорнин) в обзорах «Из русской журнальной летописи»[51] роль критического отдела в журнале связывает с тем, в какой степени она определяет направление печатного органа, и образцом для него является «Современник», в руках талантливых представителей которого «критика далеко уходила из рамок чисто литературной критики, обращалась в публицистику»[52]. В этом духе высказывается и автор «Письма из провинции»[53], для которого критики-демократы — «синоним строгости, прямолинейной последовательности убеждений».

Очень часто авторы «Слова» ссылаются на критиков «Современника» как на отправной пункт своих суждений.

---

[48] Слово, 1879, № 11.

[49] Там же, с. 131.

[50] Слово, 1879, № 9. См. об этом: Прозоров В. В. Эпизод из пропаганды эстетических идей Чернышевского. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Изд-во Сарат. ун-та, 1965, вып. 4.

[51] Слово, 1878, № 3—4.

[52] Там же, № 4, с. 133.

[53] Слово, 1879, № 5.

Например, М. К. Цебрикова в статье «Двойственное творчество», посвященной анализу «Братьев Карамазовых»[54], отталкивается от добролюбовского определения «пафоса человечности» произведений Достоевского. М. А. Протопопов, полемизируя с Гончаровым по поводу сборника литературно-критических статей писателя, тоже ссылается на Добролюбова. Таких примеров множество, и хотя упоминания статей и мнений шестидесятников часто делаются мимоходом, они важны как подтверждение действенности революционно-демократического наследия в 70-е годы.

Преемственность эстетических и демократических идей 60-х и 70-х гг. часто подчеркивалась на страницах «Слова», особенно после того, как сторонники «научного» направления во главе с Д. А. Коропчевским вышли в конце 1879 г. из редакции журнала и тон в нем стал определяться представителями народнической группы (С. Н. Кривенко, П. В. Засодимский, С. А. Венгеров и др.). Например, в цикле статей С. А. Венгерова «На смену»[55], посвященному творчеству молодых беллетристов, подробно анализируется диссертация Н. Г. Чернышевского и подчеркивается ее актуальность для литературы 70-х гг.: «Критика середины 50-х гг. требует осмысленного воспроизведения действительной жизни, и в этом же заключается стремление наших молодых беллетристов. Их идеал — идейное искусство на сюжеты реальной жизни»[56].

Таким образом, проанализировав оценки идейно-эстетического наследия Чернышевского и Добролюбова на страницах «Слова», можно сделать вывод, что их диапазон очень широк. Социально-политические идеи демократов-шестидесятников были близки публицистам-народникам и использовались ими в общественной и литературной борьбе 70-х гг., а критика и публицистика «Современника» являлась для них примером гражданской действенности. Предметом острой борьбы оказалось и эстетическое наследие критиков-демократов. Споры вокруг принципов и задач литературной критики в 70-е гг. XIX в. интересны не только в историко-литературном аспекте, но показывают несостоятельность как догматической канонизации наследия Чернышевского и Добролюбова, так и попыток преуменьшить значение их эстетической теории для развития научных представлений о специфике искусства и закономерностях литературного процесса.

---

[54] Слово, 1881, № 2.
[55] Слово, 1880, № 1—3.
[56] Там же, № 2—3, с. 110.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Ф. А. ПЕТРОВ

НЕИЗВЕСТНАЯ РУКОПИСЬ А. Н. ТВЕРИТИНОВА

Среди русских общественных деятелей второй половины XIX в. Алексей Николаевич Тверитинов занимает скромное, но все же заметное место. Инженер по образованию, Тверитинов служил по ведомству Министерства путей сообщения. Не принимая непосредственного участия в революционном движении, он, тем не менее, был связан с крупнейшими революционными организациями и виднейшими деятелями революционного народничества. В 1870 г. он был подвергнут обыску в связи с близостью к членам «нечаевского кружка». Тверитинов был московским корреспондентом газеты «Земля и воля» и организатором вечеров и концертов, сбор с которых шел на революционные цели, финансировал лиц, которые вели в Москве революционную пропаганду, устраивал явки для эмигрантов на своей квартире и оказывал помощь политическим деятелям, скрывавшимся от преследования полиции[1]. В 1879 г. он был арестован и выслан на 4 года в Архангельскую губернию, где с февраля по июль 1880 г. находился в заключении в тюрьме; в 1885 г. в Севастополе был привлечен к делу о сношениях с Г. А. Лопатиным[2].

В 1873—1876 гг. Тверитинов жил за границей в Швейцарии, Франции, Бельгии, Англии, Италии, познакомился там с русскими революционерами М. А. Бакуниным, Н. И. Жуковским, С. М. Кравчинским, П. Л. Лавровым, И. Н. Мышкиным, З. К. Ралли, М. П. Сажиным, П. Н. Ткачевым и др.; бывал на сходках членов кружка русских студенток Цюрихского университета, так называемых «фричей»

[1] См.: Деятели революционного движения в России. Биобиблиографический словарь. Семидесятые годы. М., 1932, т. 2, вып. 4, с. 17.

[2] См.: Литература партии «Народная воля»/Под ред. Б. Базилевского (В. Я. Богучарского), б/г, вып. 1, с. 46, 92, 160.

(В. И. Александрова, С. И. Бардина, сестры В. С. и О. С. Любатович, Е. Д., М. Д. и Н. Д Субботины, В. Н. и Л. Н. Фигнер), встречался с французскими коммунарами; изучал в библиотеке М. К. Элпидина нелегальную русскую литературу. Все это привело его к мысли перевести на французский язык сочинения Чернышевского, чтобы ознакомить западноевропейскую публику со взглядами русского ученого-революционера. В осуществлении этого замысла существенную помощь Тверитинову оказал бельгийский врач Сезар Де Пап, видный деятель бельгийского рабочего движения, один из основателей бельгийской секции I Интернационала, связанный с К. Марксом и французскими коммунарами[3].

Для начала Тверитинов решил перевести «Примечания и дополнения» Н. Г. Чернышевского к «Основаниям политической экономии» Д. С. Милля, в которых, комментируя книгу хорошо известного в Европе буржуазного ученого, Чернышевский показал «банкротство буржуазной политической экономии»[4]. Перевод был закончен в апреле 1874 года.

В Государственной публичной библиотеке им. В. И. Ленина хранится это издание: «L'économie politique jujée par la science. Critique des principes d'économie politique de John-Stuart Mille par N. Tchernychewsky (Traduit de Russe). Tome premier. Bruxelles. Typographie de D. Brismé. 1874». («Критический разбор принципов политической экономии Джона Стюарта Милля Н. Чернышевского». Брюссель. Типография Д. Брисмэ, т. I, 1874). Книга вышла тиражом в 2000 экз. На обороте титульного листа читателей извещали о том, что ожидается выпуск второго тома, т. е. перевод «Очерков из политической экономии (по Миллю)» Н. Г. Чернышевского. Но, как вспоминал впоследствии сам переводчик, «вышел только один том, а не два»[5]. Из «Очерков политической экономии» Тверитинову удалось перевести лишь главу «Собственность», где Чернышевский излагал свою «политическую экономию трудящихся». Перевод был опубликован во французской газете «L'économie sociale»[6].

В феврале — марте 1874 г. Тверитинов закончил перевод еще одной работы Н. Г. Чернышевского — «Писем без адреса», в которых разоблачался крепостнический характер «крестьянской» реформы 1861 г. («Lettres sans adresse (sur l'abolition du servage en Russie) par N. Tchernychewsky. Tra-

---

[3] См. подробнее: Тверитинов А. Об объявлении приговора Н. Г. Чернышевскому, о распространении его сочинений на французском языке в Западной Европе и о многом другом. СПб., 1906. В дальнейшем: Воспоминания.

[4] К. Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия. М., 1967, с. 42.

[5] Воспоминания, с. 95.

[6] См.: Итенберг Б. С. Из истории «Писем без адреса». — Вопр. литературы, 1978, № 6.

duit de Russe. Liége, 1874») (первоначально напечатаны в льежской газете «L'ami du peuple»).

Но главная заслуга Тверитинова заключалась в переводе знаменитого романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» Перевод готовился при содействии члена Парижской коммуны Б. Малона. Книга «Que faire?» («Что делать?») была напечатана в типографии местечка Лоди под Миланом, распространялась во Франции, Германии, США, Великобритании (впоследствии Тверитинов перевел на французский язык также статью Чернышевского «О происхождении теории благотворности борьбы за жизнь») [7].

Но деятельность Тверитинова не сводилась лишь к переводу сочинений Чернышевского на французский язык. Вслед за «Колоколом» А. И. Герцена и Н. П. Огарева он выступил с гневным протестом против «беззаконного и подтасованного осуждения на каторгу Чернышевского» [8]. Тверитинов написал предисловие к переводу книги Милля с примечаниями Чернышевского, целью которого было — нарисовать картину расправы царского самодержавия над Чернышевским, доказать противозаконность вынесенного ему приговора и объяснить западноевропейским читателям, чем же был опасен Чернышевский для самодержавия. В Отделе письменных источников Государственного Исторического музея хранится рукопись этого предисловия [9], которая не была опубликована на русском языке и не привлекала к себе внимание исследователей жизни и творчества Н. Г. Чернышевского [10].

По словам Тверитинова, его перевод и предисловие «произвели значительное впечатление на иностранную публику» [11]. Отклики на его издание появились в 1875—1876 гг. во французской газете «Le Rappel» (статья Луи Шассена), в издававшемся В. Либкнехтом немецком иллюстративном журнале «Die Neue Welt», где о Чернышевском была помещена статья Д. И. Рихтера «Заживо погребенный», в швейцарском журнале «Social-democrat», работах Ж. Гэда «Социалистический катехизис», Б. Малона «История социализма», Э. Лавиня «Введение в историю русского нигилизма», в выходившей в

---

[7] Перевод был напечатан в бельгийском ежемесячнике «La societé nouvelle», 1890, № 9, в котором Де Пап опубликовал ряд материалов о Чернышевском.

[8] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 5, с. 28.

[9] ГИМ ОПИ, ф. 282, № 315, лл. 35—86.

[10] Переводческой деятельности А. Н. Тверитинова посвящена глава в кн.: Травушкин Н. С. Чернышевский в годы каторги и ссылки. М., 1978, с. 79—92. Однако на предисловии Тверитинова к работе Чернышевского автор книги специально не останавливается. Краткая характеристика рукописи Тверитинова дана в нашей заметке «Популяризатор идей Чернышевского» (Вопр. истории, 1979, № 8, с. 174—178).

[11] *Воспоминания*, с. 54—55.

Будапеште на немецком языке под редакцией Лео Франкеля газете «Arbeiter Wochen Chronik», журнале английской Социалистической лиги (Э. Эвелинг, Э. Маркс, У. Моррис)» «Commonweal» и в 4 итальянских газетах. В 1880 г. изданная Тверитиновым книга была переведена на немецкий язык, в 1886 г. — на итальянский.

Перевод и предисловие Тверитинова обсуждались и в кругах революционной эмиграции[12]. О выходе на французском языке политической экономии Чернышевского и «Писем без адреса» сообщила в 1875 г. газета П. Л. Лаврова «Вперед». С книгой был знаком и сам Чернышевский, которому Тверитинов в 1884 г. послал ее через артиста М. И. Писарева. Секретарь Чернышевского К. М. Федоров вспоминал, что «читал весь процесс Чернышевского, подробно изложенный в предисловии к брюссельскому изданию «Основания Политической экономии Милля с примечаниями Чернышевского»[13].

Ценность хранящегося в ОПИ ГИМ оригинала предисловия возрастает в связи с тем, что в единственном экземпляре книги, имеющемся в Отделе редкой книги ГБЛ, это предисловие отсутствует. Других экземпляров обнаружить пока не удалось. Но из всего сказанного не приходится сомневаться, что «предисловие переводчика» к «Примечаниям» Н. Г. Чернышевского *действительно было опубликовано.* Это подтверждается и двумя другими книгами переводов Тверитинова, в которых имеются «предисловия переводчика» («Письма без адреса» и «Что делать?»).

Хранящаяся в ОПИ ГИМ рукопись А. Н. Тверитинова вносит некоторые дополнения к биографии Н. Г. Чернышевского — «великого русского писателя, одного из первых социалистов в России, замученного палачами правительства»[14]. Вслед за герценовским «Колоколом» Тверитинов разоблачил провокационный характер суда и следствия над Чернышевским. Очевидец «гражданской казни» воссоздал запоминающуюся картину демонстрации сочувствия «государственному

---

[12] По словам Тверитинова, революционная эмиграция отнеслась к нему «хотя и с одобрением за то, что пропагандировал Чернышевского, но несколько свысока. На меня смотрели все исповедовавшие лавровскую веру как на еретика, да иначе и не могли смотреть: в предисловии я много распространялся о наших недостатках, о нашем азиатском бесправии, и не слова не сказал о наших достоинствах, о том, что у нас еще сохранилось общинное землевладение и круговая порука, что судьбы капитализма у нас, по этим двум причинам, будут совсем не такие, как в Европе; иначе говоря, что об «основах народничества» у меня не было ни слова» (Воспоминания, с. 61, 75).

[13] Федоров К. Ф. Н. Г. Чернышевский. СПб., 1905, с. 78; Травушкин Н. С. Чернышевский в годы каторги и ссылки, с. 92—130.

[14] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 15, с. 152.

преступнику», устроенной собравшимися на Мытнинской площади 19 мая 1864 года.

«Предисловие переводчика» публикуется впервые. Подстрочные примечания принадлежат А. Тверитинову.

КРИТИЧЕСКИЙ РАЗБОР ПРИНЦИПОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ ДЖОНА СТЮАРТА МИЛЛЯ. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Предисловие переводчика

E pur si muove *

20 мая 1864 года[1], около восьми часов утра, на одной из Петербургских площадей, собралась и образовала круг довольно значительная толпа, состоявшая из мужчин и женщин. Внутри этого круга были поставлены солдаты в каре, а внутри каре — эшафот с позорным столбом. Шел проливной дождь, но он не мешал толпе увеличиваться и терпеливо ждать мнимого преступника.

Наконец, в 9 часов, конвоируемая двумя конными жандармами, прибыла ожидаемая карета, из которой вышел сначала генерал, а за ним человек в штатском платье; последний был чрезвычайно бледен, но совершенно спокоен. Этот человек взошел на эшафот, где два палача в красных шапках взяли его под руки. С этого начинается обряд, называемый лишением прав. После того ему повесили на шею черную деревянную дощечку, на которой белыми буквами было обозначено его преступление. Затем один из палачей грубо сорвал с его головы фуражку, чтобы он с должным уважением выслушал то, что имело быть прочитано [...][2]

По окончании приговора Чернышевскому была объявлена высочайше дарованная ему милость, заключавшаяся в уменьшении определенного ему срока каторжных работ на семь лет; затем надели ему на голову фуражку, приказали встать на колена, переломили над головой шпагу и в довершение позора привязали на несколько минут к столбу... Но вот к его ногам упал букет цветов; другие брошенные букеты были схвачены на лету полицейскими. В этот момент, когда мнимый преступник садился в карету, в толпе произошло движение, с трудом сдержанное жандармами, — как будто толпа хотела следовать за тем, кто покидал ее навсегда, или точно желала освободить его силой. Карета двинулась среди криков: «до свидания», и площадь опустела.

---

* И все-таки она движется (итал.) — слова Галилео Галилея.

Читатели! Человек, которого вы видели на эшафоте, есть автор этой книги...

Предисловие обыкновенно начинается со дня рождения автора; мне кажется, я поступлю лучше, начав со дня его смерти или, говоря точнее, со дня, бывшего началом его служебной агонии. Но прежде, чем говорить об авторе как о литераторе, я хочу поговорить о нем как о преступнике.

Что сенаторы, составлявшие приведенный выше обвинительный акт, люди не особенно большого ума, — это бросается в глаза. Но чтобы показать, до чего этот акт нелеп, до какой степени, смею сказать, лжив в его выводах, я беру на себя труд рассмотреть его в подробностях, с начала до конца. Итак, начинаю.

Обвинительный акт вначале говорит: «...обнаружились обстоятельства, указавшие правительству на Чернышевского как на одного из опаснейших агентов для государства. Вот в чем заключались эти обстоятельства: начальник 3 отделения Собственной Е. И. В. канцелярии* получил анонимное письмо, в котором.....» и проч.[3] (Действительно, важное обстоятельство). Второе обстоятельство (оно не менее важно, чем первое) это — письмо Герцена, где тот говорит: «мы намерены издавать с Чернышевским «Современник» здесь или в Женеве»[4]. На основании этих двух обстоятельств Чернышевский был арестован.

Вы, читатель, может быть думаете, что этого недостаточно для лишения кого бы то ни было свободы? Нет, отвечаю, не только достаточно, но даже много, потому что когда здесь хотят кого-нибудь арестовать, то совсем не нужно никаких обстоятельств. Но, понятно, что эти же самые обстоятельства в применении не к Чернышевскому, а к другому не имели бы никакого значения.

Предположим, что я пишу начальнику 3 отделения анонимное письмо в настоящих выражениях: «Если Вы не повесите Каткова[5], то произойдут несчастия и прольется кровь. Эти шайки бешеных демагогов состоят из пылких голов, которых ничто не остановит, а журнал «Москва» обнаружил в своей программе самые дикие стремления ... Повесьте Каткова, где хотите, в своем ли кабинете или на площади — это все равно, но повесьте его. Во имя общественного спокойствия, избавьте нас от Каткова!!»

Г. Катков** наверное не будет ни повешен, ни арестован, ни даже обеспокоен домашним обыском.

Предположим далее, что какой-нибудь русский выходец

---

* Третье отделение Собственной Е. И. В. канцелярии есть не что иное, как депо полицейских шпионов.

** русский de la Hodde.

напишет, что намерен издавать в Лондоне журнал с Шедо-Ферроти * [6]. Конечно, последнему ничего от этого не будет.

Обвинительный акт перечисляет бумаги, *относящиеся к процессу.*

Читатель видит, что это перечисление далеко не полно. Сенаторы с успехом могли удлинить его, ибо Чернышевский во время расследования, конечно, имел стулья, столы, посуду, и предметы эти относились к процессу отнюдь не менее каждой из бумаг, перечисленных в акте. Но что является наибольшим абсурдом в таком перечислении, это — письмо Чернышевского к его жене. Ссылку на дневник можно еще, хоть и с трудом, понять, так как цитированная страница писана в 1855 году, а расследование производилось в 1862 году, но ссылка на письмо, так же как и на пять предыдущих номеров, совершенно непостижима [7].

После этого отважимся продолжать таким образом: «Когда шло расследование по делу Чернышевского...» Но где это дело? Его еще нужно было найти или выдумать, а не производить; тем не менее, оно производилось в течение 8 месяцев — с 7/19 июля 1862 по 5/17 марта 1863 года, хотя в сущности не было даже сомнительных признаков [8].

5/17 марта 1863 г. Костомаров пишет трогательное письмо одному из своих друзей. Письмо это, вместо того, чтобы быть отправленным по назначению, идет в Третье Отделение и оттуда в Сенат. Рассуждения Костомарова показались Сенаторам настолько важными, что они взяли из письма и внесли в обвинительный акт наиболее трогательные места (по поводу Самсона и горьких отравленных плодов). В конце письма Костомаров сообщает своему другу, что Чернышевский составил воззвание к помещичьим крестьянам [9].

До сих пор есть пока *единственный* свидетель против Чернышевского, но никаких вещественных доказательств.

Первый и самый важный довод, приводимый против Чернышевского, эта записка, найденная у Костомарова, о которой он говорит как о полученной от Чернышевского [10]. Подлинность этой записки, послужившей для сенаторов главным основанием при их дальнейших выводах, вызывает следующие возражения:

1) Как могли оказаться какие бы то ни было бумаги у Костомарова, осужденного и отправляемого в ссылку?

2) Как могла прийти мысль делать обыск у лица, проведшего последнее время в тюрьме? Кому следовало более доверять: секретарям Сената или сенаторам, из коих первые не нашли между почерком записки и почерком Черны-

* Автор, очень уважаемый глупцами (imbéciles).

шевского сходства, а последние, напротив, признали это сходство вполне *.

Обвинительный акт далее говорит, что экземпляр воззвания помещичьим крестьянам *переписан* неизвестною рукою и находится в деле Костомарова. Слова Костомарова оказались настолько достойными доверия старых сенаторов, что они остановились на слове *переписан*. Но так как не доказано, что Чернышевский — автор воззвания, то требовалась небольшая доля добросовестности, чтобы сказать *написан*, а не *переписан* [11].

Обвинительный акт не знакомит нас с содержанием воззвания; но лучше было бы цитировать несколько страниц, дабы видеть, что слог действительно Чернышевского; к тому же, так как воззвание переписано, то имели бы таким образом доказательство в стиле, если его не было в почерке. Но, нет — вместо того, чтобы подкрепить свое убеждение этим способом, сенаторы предпочли иное: они вызвали из Москвы другого свидетеля, мещанина Яковлева, не умевшего даже дать нужное показание. Он утверждал, что слышал следующее из разговора между Чернышевским и Костомаровым: «Помещичьим крестьянам от преданных им друзей поклон! Вы ждали свободы, обещанной вам царем, ну что же? Вы ее имеете». Чернышевский, прибавляет Яковлев, называл себя автором *этой статьи*. Какой статьи? Очевидно, это показание Яковлева лишено всякого значения, что он сам не знал, о какой статье говорил, и неопределенность показания заставляет верить, что авторы письма к Некрасову были правы, сказав, что Яковлев получил от Костомарова приказание говорить то, что он сказал [12].

Прежде чем говорить о втором и последнем вещественном доказательстве, т. е. о письме, начинающемся так:

---

* Можно бы думать, что секретари имеют лучшее зрение, чем сенаторы, будучи моложе, и что потому они правы, но, с другой стороны, жалованье сенаторов много выше жалованья секретарей, следовательно, чем жалованье больше, тем зрение и ум становятся проницательнее. Такое странное действие высших окладов бесспорно и доказывается многими процессами по делам печати, имевшими место лет 5—6 назад. Эти процессы почти всегда проходили через все судебные инстанции и наказания, которым подвергались авторы или издатели каждою из инстанций, были постоянно прямо пропорциональны жалованью судей. Итак, чем более получают, тем становятся проницательнее в деле открытия преступлений. Русское правительство, убедившись в таком свойстве высшего содержания, всегда предоставляло суду сенаторов таких обвиняемых, которых желало видеть осужденными в каторжные работы, и в этих случаях подсудимый мог быть заранее уверен в своем осуждении. Таким образом, приняв во внимание два обстоятельства — возраст секретарей и жалованье сенаторов, я не знаю, какого мнения держаться. Но должен сказать, что установленное выше положение не без исключений и одно из них известно: сенатор Любимов, председательствовавший в суде, судившем сообщников Нечаева, истинных и мнимых, говорят, во время процесса дважды просил отставки. Его ум не поддавался вышесказанному влиянию.

«Мой добрый друг, Алексей Николаевич», я должен еще немного сказать о Михайлове: слова которого, по мнению Сенаторов, служили против Чернышевского. Прежде всего, Михайлов был осужден в каторжные работы за семь месяцев до арестования Чернышевского, стало быть — против Чернышевского не имел ничего сказать. Кроме того, цитированные слова отличаются откровенностью, совершенно невероятною; непостижимо, чтобы Михайлов был до того откровенен, что мог сказать, что имел в руках прокламацию к Помещичьим крестьянам и солдатам. Такое подкрепление доказательств не имеет значения, более предыдущего [13].

Теперь нам остается письмо с обращением: «Мой добрый друг, Алексей Николаевич!» Посмотрим, доказывает ли это письмо что-нибудь против Чернышевского, то есть от него оно или нет? Сенаторы обнаружили много тонкости, стараясь доказать, что письмо от него, но им это не удалось, что я сейчас и докажу. Вот как начинается история о письме.

«Когда Правительствующий Сенат приступил к рассмотрению дела о Чернышевском, прокурор, по требованию министра юстиции, предложил Сенату присоединить к имевшимся уже в деле документам еще письмо, полученное в Третьем Отделении и адресованное Чернышевским Алексею Николаевичу (Плещееву, вероятно)».

После этого можно думать, что письмо, полученное в Третьем Отделении (неизвестно откуда), действительно от Чернышевского и что это доказано. Однако мы видим, что нет, ибо поручают секретарям исследовать почерк. На этот раз секретари единогласно признали почерк Чернышевского и, конечно, они должны были поступить так, потому что в противном случае Чернышевский все равно ничего не выигрывал, а секретари много теряли [14].

Затем сенаторы предположили, что Костомаров может доставить сведения относительно этого письма. И действительно — он их дает, но его сбивчивый рассказ, нахождение письма у отправляемого в ссылку, его таинственное появление в депо шпионов, подчистки и отказ дать обвиняемому лупу для сравнения почерка письма с почерком Костомарова — все это доказывает, по-моему, довольно ясно, что письмо написано Костомаровым.

Вот и все, что в течение 22-х месяцев могли собрать для осуждения Чернышевского.

Доказали ли сенаторы, что Чернышевский автор воззвания? Для всякого здравомыслящего человека, очевидно, что не доказали, но они полагали противное и присудили его к 14 годам каторги.

Но допустим (хотя того нельзя допускать) — допустим, что они это доказали и посмотрим, чем они руководствовались, произнося свой приговор, т. е. законом или чем-либо

другим. Чтобы понять это, нужно знать, что говорится в 284 ст. Улож. о Наказ. (эта статья применена к деянию Чернышевского), причем нужно обратиться к предыдущей статье, ибо ст. 284 составляет, так сказать, продолжение ст. 283.

Вот обе эти статьи:

«283. За восстание против Верховной власти, т. е. за восстание против государя и государства, равно за намерение* ниспровергнуть правительство во всем государстве или в какой-либо его части или изменить форму правления или установленный порядок престолонаследия или за составление заговора с ясной целью или за принадлежность к таковому заговору или участие в нем со знанием его цели, или за изготовление, хранение или раздачу оружия или за другие приготовления к бунту, все главные виновные в этих преступлениях так же, как их сообщники, подстрекатели, пособники и укрыватели, подлежат лишению прав состояния и смертной казни».

«284. Когда означенное в предыдущей 283 статье намерение обнаружено правительством своевременно, в самом его начале, вследствие чего не произошло ни покушения, ни восстания, ни каких-либо иных вредных последствий, то виновные, взамен смертной казни, присуждаются к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы в рудниках на срок от 12 до 15 лет или заключению в крепости от 10 до 12 лет, сообразно с обстоятельствами дела».

Следовательно, в этих двух статьях дело идет о революции, а не о составлении какого-либо воззвания, как бы оно ни было революционно, о восстании организованном, вооруженном, вспыхнувшем уже или готовом вспыхнуть. Осуждение Чернышевского является преступлением не только против нравственности (можно ли говорить о нравственности, когда речь идет о русских сенаторах), но и против самих русских законов.

Законодательство признавало достаточным гарантировать власть исполнительную (которая в то же время и законодательная) против революции смертною казнью, или в случае, когда преступление своевременно обнаружено, 15 или 12 годами каторги; но оно не считало нужным применить эти статьи к авторам воззваний; представление о революции несовместимо с мыслию о воззвании или о какой-либо прокламации; это очевидно, так как, во-первых, о них в этих двух статьях не говорится, а во-вторых потому, что на этот предмет есть текст следующей статьи Уложения:

---

* Понятно, что ни за намерение, ни за умысел статья карает смертью, как можно бы думать по ее дальнейшему построению, очевидно, что «намерение» должно быть в связи с тем, что за ним следует, и притом в большей связи, чем в данном случае.

«285. Кто окажется виновным в составлении и распространении воззваний, призывов или иных произведений или изображений, рукописных или печатных, с целью возбудить к бунту или явному неповиновению Верховной власти, подлежит лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы в крепостях на время от 8 до 10 лет.

Виновные же в составлении подобных воззваний или иных сочинений и изображений, хоть не уличенные в умышленном их распространении, подлежат наказанию за эти деяния, как за приготовление и покушение возбудить к мятежу: заключению в крепости на время от 1 года 4 месяцев до 2 лет 8 месяцев и лишению некоторых прав и преимуществ, согласно ст. 50 Уложения».

Вторая половина этой последней статьи как нельзя более применима к данному случаю, скажем более: если она здесь не применима, то во всем существовании нет никакой надобности.

Мы видим, что в настоящем случае есть только составление воззвания, а не распространение его; последнее требует наличности *многих экземпляров во многих руках,* тогда как здесь есть лишь один экземпляр (переписанный неизвестно чьею рукою), находящийся в деле Костомарова.

Я объяснил сначала, что преступление Чернышевского не доказано и что потому он осужден незаконно; я допустил затем, что его преступление доказано и объяснил, что он все же незаконно приговорен в каторгу.

Теперь посмотрим, какое сенаторы имели право обвинять его в идеях материализма, доходящих до последних границ, и социализма и в силу этого увеличивать число лет каторги. Разве его сочинения не представлялись на рассмотрение цензуры? Да, конечно, они рассматривались цензурой, настолько строгой и разрушительной, что европеец не может даже составить себе о том понятие. За что же, стало быть, осуждать автора усилением наказуемости тремя или четырьмя годами каторги и оставлять безнаказанными цензоров? Чтобы быть последовательным, их следовало повесить.

Очевидно, здесь сенаторы руководились не законом и логикой, а личными чувствами и собственным невежеством.

Когда этим старикам, никогда ничего не державшим, кроме журнала Москва и Апокалипсиса, начальник III Отделения показал одну из статей Чернышевского, то они, конечно, были поражены ужасом; с некоторыми может быть сделалась лихорадка. Но разве это основание для увеличения наказания 4 годами каторги?

Если бы начальник III отделения показал им в русском переводе сочинения Фердинанда Лассаля и Дарвина, не говоря, что это переводы и сказав, напротив, что автор рус-

ский и живет в России, то, без сомнения, сенаторы присудили бы этих авторов к виселице.

Нужно ли говорить, что в процессе Чернышевского не было ни присяжных, ни защитников и что заседание было закрытое.

Нужно ли говорить, что Плещеев, который, если верить Костомарову, также принимал участие в воззвании к бунту, не был ни осужден, ни судим, ни даже обвиняем.

Нужно ли говорить, что полковник Шелгунов, вследствие доноса Костомарова, был судим военным судом (*военным судом* — заметьте это) и *был оправдан*? Правда, его потом выслали административным порядком в Вологодскую губернию, но этим порядком шеф жандармов или министр внутренних дел могут выслать в Сибирь всю Россию, ибо для того не требуется ни малейшего подозрения в преступлении или действии, противном закону [15].

Нужно ли говорить, что ни в то время, ни после не открыто ни в Воронеже, ни в Саратове, ни в Тамбове ни одного комитета социалистов, возбуждающих умы молодежи?

Нужно ли говорить, что никогда не было обнаружено ни одного из участников заговора, о существовании которого знал Чернышевский?

Нужно ли говорить, что Костомаров был рядовым только по названию? Он даже не носил никогда солдатского платья и до своей смерти (в прошлом году) жил в Петербурге, презираемый обществом, видевшим в нем агента III отделения [16].

Чтобы закончить эту часть моего предисловия, мне следовало бы назвать по именам бездельников, запятнавших свою совесть в грязи процесса Чернышевского, но, к сожалению, мне известно имя только одного председателя. Это — Корниолин-Пинский [17].

Но довольно. Я обсуждал более пространно, чем то дозволяет размер предисловия, благотворную деятельность правительства; теперь я перейду к вредной деятельности Чернышевского.

Чернышевский оказал три великие, три громадные услуги России. Из них первая, в порядке хронологическом, относится к изящной литературе и искусствам вообще, вторая — к вопросам экономическим и третья — к общественному положению женщины.

Его литературная деятельность началась в 1855 году, когда он привлек к себе всеобщее внимание превосходным сочинением, озаглавленным «Эстетические отношения искусства к действительности». Эта книга произвела, можно сказать, революцию в литературе и литературной критике. Ранее романисты и поэты обыкновенно очень мало заботились о направлении в их произведениях; находили даже, что чем

менее идей в романе и стихотворении, тем лучше, и публика не искала в них ничего, кроме хорошего стиля и красноречия. Словом, идеальные понятия Гегеля, вера в творческую силу романистов и поэтов, внушаемую им провидением, были в полном ходу. Теперь наоборот: как бы ни был красноречив стиль, сколько бы ни было живописного в описаниях восхода и заката солнца — читателя это не интересует; он ищет главным образом идею; если она хороша, если описания правдоподобны — роман хорош, даже если стиль не безупречен; но если идея дурна и автор рассказывает события невероятные — роман дурен. Возьмем в пример Тургенева, известного в Европе; его стиль превосходен, не оставляет желать ничего лучшего и, несмотря на это, после того, как он написал «Отцы и дети», «Дым» и другие романы, построенные на идеях ложных или вовсе безыдейные, русская публика перестала читать автора, которого так любила за его стиль, ибо, в смысле направления его сочинения за исключением «Записок Охотника» никогда не были особенно ценными [18].

Принципы, изложенные Чернышевским теоретически в его сочинении «Эстетические отношения», вскоре нашли применение в произведениях Островского, Гончарова и других, применение, руководившее и покойным Добролюбовым в его критических статьях.

В 1856 году Чернышевский был приглашен редакциею «Современника» в качестве сотрудника этого журнала [19]; он принял предложение и, начиная с 1857 года, до мая месяца 1862 года, т. е. до запрещения журнала в каждой книге было от 100 до 150 страниц, вышедших из-под его пера. Это был неутомимый труженик.

Обсуждавшиеся им вопросы были в большинстве вопросы экономические [20]. Кроме главного сочинения, первый том которого перед читателем, Чернышевский написал массу других экономических статей: и об общинном владении, и о выкупе земли крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости и об улучшении быта этих крестьян.

Так как в России литература не имеет никакого влияния на принимаемые правительством решения (можно даже сказать, что чем больше убеждающих доводов в пользу какой-либо идеи, тем скорее следует ждать мероприятий в противном смысле), то нет ничего удивительного, что сочинения Чернышевского не повлияли на участь крестьян. Правда, общинное владение землей не было уничтожено, но это сделано не с целью, которую преследовал Чернышевский, и не для того, чтобы обеспечить благосостояние крестьянам, а в целях исключительно фискальных. Впрочем, хотя идеи Чернышевского не вошли в действительную жизнь крестьян, но ими многие прониклись по причине их большого научного

достоинства, о чем читатель может составить понятие при чтении настоящего издания.

Может показаться странным, что правительство, уничтоживши рабство, осудило человека, более всех заботившегося о наилучшем разрешении этого вопроса, между тем, как то же самое правительство награждало лиц, защищавших крепостничество. Да, это должно казаться странным, но в русской истории можно найти факты, еще более странные.

Например, Екатерина II. Эта знаменитая Екатерина, которая переписывалась с Вольтером, делала подарки Дидро, созывала комиссии для уничтожения крепостничества и, повидимому, действительно желала его уничтожить [21], осудила Радищева на 15 лет каторги за описание в его книге «Путешествие из Петербурга в Москву» невыносимого положения крепостных. Сенат приговорил его даже к смертной казни, но императрица, по своей благости, заменила смерть каторгою. Хотя каторжные работы в Сибири не многим лучше сравнительно со смертию и хотя замена смерти мгновенной многолетнею агониею не составляет особенной милости, но вы, читатель, согласитесь, что в государствах самодержавных, а выражаясь проще — деспотических, такая замена значит еще менее, чем то может казаться на первый взгляд. В подобных государствах, когда хотят сослать кого-то в каторгу, то государь требует к себе председателя суда и говорит ему: «Ты осудишь такого-то на смерть и потом объявишь, что я заменяю смерть столькими-то годами каторжных работ. Председатель уходит, берет уголовные законы и там выискивает статью, определяющую смертную казнь; имея всегда большой выбор подобных статей, он берет ту, которая ему кажется более подходящей и пишет, ссылаясь на эти статьи, приговор, для которого секретари составляют более или менее красноречивое вступление. И вот обвинительный акт и приговор готовы.

В самодержавных странах, как, например, в Китае, в Персии, в России, бюджет вотируется, если можно так сказать, одним лицом, которое в то же время являет собою и власть повелительную, из этого следует, что в таких государствах не может существовать даже тени свободы печати вообще и свободы критически обсуждать государственный бюджет — в особенности.

Чернышевский первым осмелился критиковать русский государственный бюджет, который был и тогда, и теперь еще более, разорителен для русского народа, буквально умирающего с голода [22].

В это же время Чернышевский поместил в «Современнике» статью под заглавием «Сделались ли они благоразумнее» [23], где порицал правительство за нападки на Петербургский университет вследствие того, что студенты отказались

подчиниться правилам, которые им хотели навязать; в этом деле солдаты, конечно, одержали верх, и студенты провели многие месяцы в различных крепостях и тюрьмах.

За эту двойную дерзость «Современник» был приостановлен до конца (1862) «по причине его вредного направления»[24], а спустя два месяца (7/19 июля) его главный сотрудник был арестован по обстоятельствам, известным уже читателю.

В течение долгих месяцев одиночного тюремного заключения Чернышевский написал роман «Что делать?» Хотя этот роман не есть главный труд Чернышевского, как то признает Малон в его очерках учений французских социалистов[25], он, тем не менее, весьма замечателен. Никогда еще роман не приносил таких плодов и в столь короткое время. Ему, и ему одному, мы обязаны тем фактом, который принимает теперь все большие и большие размеры. Я говорю о русских студентках. В прошлом году в Цюрихском университете их было 108, но после знаменитого указа, который всех их назвал распутницами и объявил недействительными дипломы этого университета, они отправились в Россию и оставили науку[26]. Указ, изданный Чернышевским из тюрьмы, оказался могущественнее указа Шувалова *. Автор или авторы этого знаменитого указа, говорили, что женщины могут так же хорошо учиться в России, как и в Цюрихе (это ложно: во-первых — ни в университеты, ни в медицинские школы в России женщины не допускаемы и, во-вторых — наука, руководимая жандармами, как в России, не есть наука), что они идут в Цюрих просто с любовными целями (точно Цюрихский университет публичный дом) и что потому правительство дает им отеческий совет не стремиться туда. Рассчитывали, вероятно, что после такого оскорбления цюрихских студенток последним будет трудно поступить в другие университеты, но всех этих распутниц принимают везде: в Париже, в Вене, в Берне. Итак, я говорю, что исключительно Чернышевскому обязаны этим фактом.

Правда, это еще до него Михаил Михайлов[27] писал в «Современнике» прекрасные статьи об образовании женщин и их социальном положении, но статьи те были очень скоро забыты, между тем, как роман «Что делать?» много тогда читался, читается теперь и долго будет читаться с удовольствием и пользою. Роман этот совершенно изменил в молодом поколении семейные нравы, т. е. отношения между супругами, и очень часто встречаются люди, быть может не вполне способные понять всецело изложенные в романе идеи, но вынужденные жить в условиях, им указанных. Тако-

---

* Шеф жандармов.

во влияние этого романа; он привлекает, можно сказать без преувеличения, целую половину русского народа к сознательному прогрессу и совершенно уже привлек большую часть этой половины.

В продолжении своего 23-месячного заключения в Петропавловской крепости, Чернышевский написал еще один роман, но рукопись ныне не существует, так как друг, получивший ее на хранение, вместо того, чтобы напечатать, сжег, из опасения домашнего обыска (вещь не редкая в России)[28].

После осуждения Чернышевского запретили не только перепечатывать его, но даже произносить его имя. Прежде, когда желали сказать: «Чернышевский говорил то или то», говорили «одно лицо сказало то и то». Теперь же нельзя даже и так говорить[29].

Это может удивить читателя, который следит по журналам за ходом дел в России. Он может спросить: как же все это возможно, если ныне цензура не существует. Нет, читатель, уничтожена только предварительная цензура; перемена лишь в том, что прежде рукопись представляли на одобрение цензора; а теперь ему представляют уже напечатанное сочинение[30]. Положение же русской прессы с каждым днем ухудшается, и если бы я хотел дать здесь список сочинений, которые уничтожают, а авторы которых в последнее время сосланы, то мне потребовалось бы не менее десяти страниц. Все это делается порядком административным, т. е. по произволу.

Сначала пробуют авторов, преступников и их вредные произведения подвергать судебной каре, но так как нельзя найти суд, достаточно тупой для осуждения и также цензуры надлежаще тупой для обвинения и признания вредным таких трудов, как, например, перевод «Истории рационализма в Европе» Лекки, то обращаются к уничтожению их *порядком административным.*

Это, уверяю вас, гораздо легче, чем доказать, например, что сочинение Лекки антихристианское. А именно, ввиду этого антихристианского характера, стадо архиепископов, епископов и священников, составляющих духовно-цензорский комитет, уничтожило эту книгу. Кто пастух этого стада, я не знаю, но, наверное, не Иисус.

Но возвратимся к Чернышевскому. После семи лет каторги в Нерчинских рудниках он был переведен в тюрьму близ города Вилюйска, в Восточной Сибири. Эта тюрьма не что иное, как камера, где он совершенно один, если не считать казаков и жандармов, стерегущих его и запирающих на ночь под замок. Хотя ссылка и одиночное заключение не одно и то же, даже с точки зрения русского правительства, и хотя все другие сосланные не живут ни в камерах, ни в тюрьмах, но для Чернышевского сделали исключение.

«Покажи мою голову народу, — она этого заслуживает», — сказал Дантон палачу. Тем более заслуживает быть показанной европейским народам голова Чернышевского — и я ее показываю.

Алексей Тверитинов

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Гражданская казнь» над Н. Г. Чернышевским состоялась 19 мая 1864 г.

[2] Далее излагается с неточностями текст Приговора Сената по делу Н. Г. Чернышевского (полностью приведен в кн.: Дело Чернышевского. Саратов, 1968, с. 420—434).

[3] Тверитинов имеет в виду следующие слова Приговора Сената: «Управляющий III отделением собственной его императорского величества канцелярии получил безымянное письмо о Чернышевском, в коем предостерегает правительство от Чернышевского, «этого коновода юношей, хитрого социалиста (...) Ежели не удалите Чернышевского, пишет автор письма, быть беде, будет кровь. Эта шайка бешеных демагогов — отчаянные головы, эта «Молодая Россия» высказала в своем проекте все зверские ее наклонности; может быть, перебьют их, а сколько невинной крови прольется за них. В Воронеже, в Саратове, в Тамбове — везде есть комитеты из подобных социалистов, везде они разжигают молодежь (...) Избавьте нас от Чернышевского ради общего спокойствия». (Текст письма см.: Дело Чернышевского, с. 146—147).

[4] «В конце июня месяца 1862 г. получено было в III отделении уведомление, —говорилось в приговоре, — что из Лондона в Петербург едет коллежский секретарь Ветошников, знакомый с Герценом и Бакуниным и везет с собой запрещенные издания Герцена, Огарева и др., а вместе с тем и корреспонденцию от пропагандистов. При арестовании Ветошникова, между прочими письмами у него оказалось письмо изгнанника и пропагандиста Герцена к надворному советнику Серно-Соловьевичу, в коем он убеждает его распространять пропаганду в России, и в конце письма приписка: «Мы здесь или в Женеве намерены с Чернышевским издавать «Современник». По поводу письма сего Чернышевский 7 июля был арестован...» В примечаниях к опубликованному в № 193 «Колокола» от 1 января 1865 г. тексту приговора сената Герцен разоблачил явную передержку, допущенную при цитировании его письма к Н. А. Серно-Соловьевичу, в котором говорилось: «мы готовы издавать «Современник» здесь с Чернышевским или в Женеве»: «Я не мог писать, что намерены издавать «Современник» с ним, потому что не имел ни малейшего сведения, хочет ли он или нет издавать «Современник» вне России. Тут явная перестановка слов для /.../ дела» (Колокол, т. VIII, с. 1582). На следствии Чернышевский категорически отрицал какие-либо «противозаконные сношения с Герценом» и, как указывалось в заключении обвинительного акта, обвинение его «в участии с Герценом в его стремлениях ниспровергнуть существующий в России образ правления» было признано недоказанным.

[5] Тверитинов со слов П. Н. Ткачева и Г. И. Успенского полагал, что составителем анонимного доноса был редактор газеты «Московские ведомости» М. Н. Катков: «Приведение содержания анонимного письма в докладной записке царю и можно только объяснить тем, что автор ее был хорошо известен, как авторитетное лицо, составителям записки, а кто же был более авторитетен в царствование Александра II, как не Кат-

ков?» (Тверитинов А. Воспоминания, 55). Журнал «Москва» издавал И. С. Аксаков.

[6] Псевдоним агента царского правительства барона Ф. И. Фиркса.

[7] Перечисляя бумаги, «к делу относящиеся», найденные у Чернышевского при аресте, составители приговора сената, в частности, упоминают о «двух тетрадках, написанных с сокращениями слов, слогов и букв». В них помещен «Дневник моих отношений с тою, которая теперь составляет мое счастье». Внимание следственной комиссии привлекла запись от 13 марта 1853 г.: «Меня каждый день могут взять. Какая будет тут моя роль? У меня ничего не найдут, но подозрения против меня будут весьма сильные. Что же я буду делать? Сначала я буду молчать и молчать. Но, наконец, когда ко мне будут приставать долго, это мне надоест и я выскажу свои мнения прямо и резко. И тогда я едва ли уже выйду из крепости» (см.: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. 1, с. 466). Приводилась также выдержка из письма Чернышевского к жене от 5 октября 1862 г.: «...наша с тобою жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами» (см.: Там же, т. XIV, с. 456).

[8] Как указывал Н. И. Утин, «правительство, арестовав Чернышевского, было поставлено в безвыходное положение полнейшего отсутствия обвинительных пунктов» (Колокол, т. VIII, с. 1549). 5 мая 1863 г. вопреки фактам и в нарушение многих норм следствия комиссия по борьбе с революционной пропагандой под председательством А. Ф. Голицына сочла возможным закончить разбирательство дела о Чернышевском, которое было передано в Сенат.

[9] В приговоре Сената указывалось, что, по словам Костомарова, Чернышевский в отличие от библейского героя Самсона рассуждал иначе: «чем мне погибать под обломками старого здания, я лучше пошлю других разваливать его, а сам посижу пока в сторонке». Костомаров подчеркивал, что для общества «деятельность кружка, созданного учением Чернышевского, принесла и приносит /.../ горькие, отравленные плоды».

[10] Любопытен комментарий к «Предисловию», сделанный самим Тверитиновым 32 года спустя: «Наконец, сам Чернышевский, которого уважаемый Сенатом автор письма называет хитрым социалистом, а сам Сенат удостоверяет, что он, несмотря на строгую предварительную цензуру, сумел расставить социалистическо-материалистические сети и уловлять в них несчастную молодежь, этот-то хитрец действует как самый глупенький юноша: в записке, найденной при Костомарове, ошибка не непростительная, а прямо невозможная... Приехать в Москву и, не застав там своего тайного типографщика дома, оставить такую записку может только человек совершенно нехитрый; наконец, послать с владельцем тайной типографии, т. е. с лицом, которое всегда может ожидать обыска, письмо к заговорщику (Плещееву) из Петербурга в Москву — письмо, совершенно не нужное!» (Тверитинов А. Указ. соч., с. 56). Сам Чернышевский писал по этому поводу в Сенат 1 июня 1863 г.: «писать и оставлять записку, которая, если бы была действительно моя, служила бы прямою уликою — это такая глупость, которая решительно несогласная ни с моей известностью, как человека неглупого, ни с моим мнительным характером» (Дело Чернышевского, с. 328).

[11] В приговоре Сената подчеркивалось, что «воззвание к барским крестьянам, в сочинении коего Костомаров обвиняет Чернышевского и экземпляр которого, переписанный неизвестно кем, находится в деле Костомарова, будучи писано языком простонародным, содержит в себе превратное толкование Положения 19 февраля 1861 г. об освобождении крестьян /.../ автор прокламации приглашает барских крестьян готовиться добывать себе волю втайне, подговаривать к тому же государственных и удельных крестьян и солдат, а когда все будет готово, он обещает дать сигнал к общему восстанию». Текст прокламации (см.: Чернышев-

ский Н. Г. Полн. собр. соч., т. VII, с. 517—524) вкратце излагался своими словами. «Я, конечно, не думал, что Чернышевский не мог написать *ничего нецензурного, — вспоминал впоследствии Тверитинов, — но только* говорил, что найденное в портфеле Костомарова воззвание к барским крестьянам, наверное, не Чернышевского (...) Он мог, конечно, написать и книжку для народа, «о том, как на белом свете люди живут», написать и не отдать ее в цензуру, но это,— если и была такая брошюра, наверное не воззвание к барским крестьянам, которое будто бы редактировал Всеволод Костомаров (Чернышевский исправлял рукопись по указаниями Костомарова?!)». (Тверитинов А. Указ. соч., с. 57).

[12] Имеется в виду письмо содержавшихся вместе с Яковлевым в Смирительном доме студентов Московского университета Гольца-Миллера, Петровского-Ильенко, Новикова, Сулина и Ященко, пересланное ими через Н. А. Некрасова шефу жандармов Потапову, в котором обращалось внимание на то, что Костомаров потребовал от Яковлева дать «ложное показание» (Дело Чернышевского, с. 247—249). Как вспоминал Тверитинов, «...письму пяти злоумышленников не поверили, а показаниям голословным Костомарова верили — значит он не злоумышленник». Все это, по мнению Тверитинова, окончательно доказывало, что Костомаров — шпион (см.: Тверитинов А. Указ. соч., с. 56).

[13] «Литератор Михайлов, — указывалось в приговоре Сената, — бывший губернский секретарь, судившийся в Сенате за распространение привезенного из Лондона возмутительного воззвания «К молодому поколению» и сосланный на каторгу, во время производства над ним в Сенате следствия, между прочим, показал, что он имел в руках своих воззвания и к барским крестьянам и к солдатам, из коих последнее переписывал и поправлял, но не открыл никого из своих сообщников». Поэтому-то Тверитинов и обратил внимание на то, что, как он писал впоследствии, «показание против Чернышевского Михаила Илларионовича Михайлова, приговоренного к каторге 14 декабря 1861 года, т. е. за полгода до ареста Чернышевского, ничего доказать не может». (Тверитинов А. Указ. соч., с. 56). Здесь он повторял примечание Герцена к приговору сената: «Как же мог Михайлов, приговоренный к каторге 14 декабря 1861 г., показывать в деле Чернышевского, арестованного 7 июля 1862 г. ...» (Колокол, т. VIII, с. 1584).

[14] Как указывалось в приговоре, «вследствие заключения Сената делаемо было секретарями Сената сличение почерка руки Чернышевского с *почерком, коим написано сие письмо, и секретари единогласно признали,* что как это письмо, так и бумаги, находящиеся в деле, писанные Чернышевским и им не отвергаемые, *писаны одним почерком. Присутствие* 1-го отделения 5-го департамента, сличив со своей стороны почерк Чернышевского с письмом сим, признало вышеозначенное заключение секретарей правильным и посему определило заключение сие утвердить во всей силе».

[15] Известный русский публицист-демократ Н. В. Шелгунов был арестован в апреле 1863 г. и заключен в Петропавловскую крепость. В 1864 г. он был отправлен в ссылку, где находился до 1877 г.

[16] Костомаров умер в 1867 г.

[17] Приговор Сената подписали М. М. Корниолин-Пинский, А. Веневитинов, Н. Лукаш, Д. А. Толстой, К. Венцель.

[18] Тверитинов здесь излагает личный взгляд на творчество Тургенева.

[19] Первая статья Чернышевского в «Современнике» — «Романы и повести г. Авдеева» — была опубликована в № 2 журнала за 1854 г.

[20] Тверитинов упускает из виду политические статьи и обзоры Чернышевского, в которых проводились революционные идеи на историческом опыте.

[21] Напротив того, в правление Екатерины II имело место дальнейшее укрепление феодально-крепостнического строя, что отразилось и в настроениях дворянского большинства «Комиссии об уложении» 1767 г.

[22] Имеется в виду статья Чернышевского «О росписи государствен-

ных расходов и доходов», опубликованная в № 2 «Современника» за 1862 г. (см.: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. X, с. 78—89).

[23] Название приведено неточно: имеется в виду статья «Научились ли?», опубликованная в «Современнике», 1862, № 4 (см.: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. X, с. 168—180).

[24] «Современник» был запрещен с июня 1862 по февраль 1863 г.

[25] Об этом же было написано в предисловии к переводу романа «Что делать?».

[26] В Цюрихском университете обучались 103 русские женщины. Правительственным указом мая 1873 г. им предписывалось оставить университет к 1 января 1874 г. под угрозой лишения по возвращении в Россию права поступления в какие-либо высшие учебные заведения. «Это решение было мотивировано «нравственным растлением молодого поколения в эмиграции» (см.: Панухина Н. Б. Москвичи. Из истории революционного подполья 70-х годов XIX века. М., 1974, с. 45).

[27] Имеется в виду рассказ Михайлова «Вольная пташка», опубликованный в № 4 «Современника» за 1858 г.

[28] Имеется в виду повесть Н. Г. Чернышевского «Алферьев», часть которой сохранилась в архиве А. Н. Пыпина, другая часть — в архиве III отделения.

[29] Здесь Тверитинов почти дословно повторяет мысль неизвестного автора статьи о Чернышевском, опубликованной в № 190 «Колокола»: «в России это имя теперь запрещенное и вряд ли возможно писать о Чернышевском не только как о человеке, но и как о литераторе» (Колокол, т. VII, с. 1558).

[30] Имеются в виду «Временные правила о печати» 6 апреля 1865 г. Законом 16 июня 1873 г. министру внутренних дел было дано право приостанавливать выпуск любого издания, затрагивающего вопросы государственной важности.

Н. М. ЧЕРНЫШЕВСКАЯ

ДВОЮРОДНАЯ СЕСТРА ЧЕРНЫШЕВСКОГО ЕВГ. Н. ПЫПИНА

В галерее старых портретов, развертывающейся на страницах семейной переписки Пыпиных и Чернышевских за 60 лет (с 40-х годов XIX в. по первое десятилетие XX в.), одно из видных мест занимает Евгения Николаевна Пыпина, родная сестра академика А. Н. Пыпина и двоюродная сестра Н. Г. Чернышевского.

История женского освободительного движения 60-х годов насчитывает целую плеяду первых слушательниц университета. Из них наиболее известны имена Корсини, А. П. Блюммер, М. А. Богдановой, Н. П. Сусловой-Эрисман, М. А. Боковой (потом Сеченовой). К ним надо присоединить и сестер Пыпиных — Полину и Евгению, особенно последнюю.

В этом очерке краткую биографию-характеристику Евгении Николаевны мне хочется включить в круг изучения Чернышевского как автора «Что делать?», поскольку роман является проповедью женской независимости, защиты прав женщины на образование и самостоятельный труд.

Евгения Николаевна Пыпина родилась в Саратове 10 февраля 1835 года и была третьим ребенком Николая Дмитриевича и Александры Егоровны Пыпиных. Первоначальное образование она получила, как и все старшие дети Пыпиных, в доме Чернышевских, где ее учителем был Гавриил Иванович Чернышевский[1]. Еничка, или Евгеньичка, как ее называли в семье, считалась самой способной из учениц Гавриила Ивановича, и с двенадцати лет она уже была

[1] См.: Воспоминания ее младшей сестры Ек. Ник. Пыпиной. Осн. фонд Гос. Дома-музея Н. Г. Чернышевского № 801, с. 74. В дальнейшем: Воспоминания Ек. Ник. Пыпиной.

помощницей чиновнику-отцу в переписывании деловых бумаг. В 50-х годах ее мать, бывшая в большой дружбе с игуменьей женского монастыря Олимпиадой Павловной Протопоповой, отдала Евгению Николаевну временно в монастырь для обучения рукоделию. Но уже тогда главным занятием Евгении Николаевны было чтение.

50-е годы были расцветом литературной деятельности Чернышевского в «Современнике». Николай Гаврилович аккуратно присылал свой журнал в Саратов, и там, в стенах будущего музея, жадно читались и перечитывались новенькие книжки с его статьями.

В это время Пыпины и Чернышевские жили в одном доме — у Чернышевских, и культ Николи пронизывал ясным светом их мирный патриархальный быт. Каждая строчка его ловилась с любовью и гордостью; далекий Петербург уж не казался страшным неведомым городом, в который мать Чернышевского с трепетом отвозила своего семнадцатилетнего сына в 1846 г. для поступления в университет. Теперь это была обетованная земля, куда устремлялись молодые порывы в поисках живой общественной работы.

Эти мысли всецело владели Евгенией Николаевной. Что мог дать ей Саратов? — Ничего, кроме жениха. Женихов было несколько, все мелкие чиновники, совместная жизнь с которыми сулила мало радости. Это чувствовали и старшие и потому не торопили Еничку с вступлением в брак.

Однообразие саратовской жизни нарушалось лишь приездами братьев: Александра Николаевича и Николая Гавриловича. К их прибытию в доме готовились как к празднику, хлопотам и разговорам не было конца. Обыкновенно братья, как передает Екатерина Николаевна, приехав, мало сидели дома, а больше проводили время в своей ученой компании, то есть с Беловым, Варенцовым, Мордовцевым и др.[2].

Но в 1859 году приезд Николая Гавриловича в Саратов был связан с целым событием в жизни девушек. Николенька выпросил у Александры Егоровны разрешение увезти с собою в Петербург младшую сестру Енички — Полиньку[3]. Она прогостила у Чернышевских всю зиму и вернулась домой весной 1860 г. в сопровождении брата, А. Н. Пыпина, который незадолго перед тем приехал из заграницы (в феврале 1860 г.). «Рассказы Александра Николаевича о заграничных впечатлениях были неисчерпаемы. С особен-

---

[2] Белов Евгений Александрович (1826—1895), историк, с 1851 года был переведен из Пензы в Саратов и служил преподавателем географии в мужской гимназии одновременно с Н. Г. Чернышевским. Варенцов В. Г. (ум. в 1867 г.), учитель русской словесности в Саратовской гимназии. Мордовцев Даниил Лукич (1830—1905), писатель и историк.

[3] Род. 8/X-1837 года, ум. 19/XII-1915 года.

ным вниманием прислушивалась к ним Еничка, и он не мог не заметить, как она развилась умственно за это время. Он издавна знал ее стремления к знанию и всегда старался доставать ей полезные и интересующие ее книги, знал также, как трудно было для молодой девушки удовлетворять свои умственные интересы в захолустном Саратове, и стал уговаривать мать отпустить обеих сестер в Петербург учиться. Осенью 1860 года Полинька и Еничка собрались в дорогу и приехали в Петербург. Устроиться иначе, как у Николи, им и подумать казалось невозможным»[4]. Молодые девушки поселились с ним и Александром Николаевичем на одной квартире и стали ревностно готовиться к слушанию университетских лекций. У них, как рассказывала Екатерина Николаевна, составилась коммуна из десяти человек, собиравшаяся у знаменитого математика Страннолюбского и изучавшая математику и естественные науки. Особенно увивалась математикой Еничка. В числе преподавателей коммуны оказался и будущий муж Полины, Петр Петрович Фандер-Флит, впоследствии профессор физики[5].

В 1860-м году Петербургский университет открыл свои двери для женщин — вольнослушательниц, и обе сестры Пыпины усердно посещали его. Студенческие волнения 1861 г. послужили причиной закрытия университета вплоть до 1863 г., после чего в нем места для женщин уже не оказалось. Некоторые из изгнанниц стали слушать лекции в Военно-медицинской академии с намерением потом держать экзамен на ученую степень. Это были — Надежда Прокофьевна Суслова, Мария Арсеньевна Богданова и Мария Александровна Бокова. Вместе с ними начали было посещать Академию и сестры Пыпины, но и здесь через год двери закрылись для них.

Вскоре после этого Евгения Николаевна прошла специальный курс детских и женских болезней у доктора Крассовского[6] (им были открыты акушерские курсы в конце 60-х годов, но «скоро сгибли»[7]). Здесь Евгении Николаевне удалось сдать экзамен на врача, после чего она стала практиковать. В медицинском кругу Евгения Николаевна счита-

---

[4] Из книги В. А. Пыпиной «Любовь в жизни Чернышевского» (Петроград, 1923, с. 30).

[5] Александр Николаевич Страннолюбский (род. в 1839 г.) был самым популярным в то время математиком, горячим поборником женского образования, основателем Аларчинских курсов и руководителем кружков самообразования. П. П. Фан-дер-Флит (род. 16 сентября 1839 г., ум. 29 июля 1904 г.), проф. Петербургского университета.

[6] Крассовский Антон Яковлевич (1821—1898) — русский акушер-гинеколог, положивший начало акушерству и гинекологии в России. С 1858 г. — профессор Академии.

[7] Воспоминания Ек. Ник. Пыпиной, с. 74—75.

лась хорошим врачом: ее «очень ценили Крассовский и Шершевский, Головин и Боткин тоже высоко ставили»[8].

В 1882 году Евгения Николаевна получила приглашение от одной своей пациентки (Вонлярлярской) — сопровождать ее в путешествии за границу— и посетила Париж, Берлин, Ниццу и другие города. Путешествие началось в первых числах марта, а в начале мая Евгения Николаевна была уже дома и приступила к своим обязанностям акушерки.

Горячо отдаваясь медицине, Евгения Николаевна вместе с тем всегда была в курсе развертывающейся вокруг нее общественной жизни. Н. И. Костомаров и И. М. Сеченов[9], из которых первый был знаком еще по Саратову, а другой — по дому Чернышевских в Петербурге, присылали Евгении и Полине билеты на свои публичные чтения в зале Городской Думы (60-е гг.). Вместе с Полиной Еничка попадает в 1879 г. на торжественное заседание VI съезда научных работников в университете, на котором, между прочим, Бекетов[10], выбранный председателем, вносит предложение, согласованное им с А. Н. Пыпиным, о снаряжении ученой экспедиции в Болгарию. Это было принято Географическим обществом и Академией наук. Была Евгения Николаевна и членом одного благотворительного общества в Петербурге. Сестра ее Екатерина Николаевна рассказывает об этом так: «Евгения Николаевна в Петербурге записалась членом благотворительного общества и при встрече с нищими давала им билетики на право бесплатного обеда в столовой и при этом делала им наставления о вреде праздности и необходимости труда»[11].

Живо интересуется Евгения Николаевна и ходом женского освободительного движения. «Вы, маменька, спрашиваете, — пишет она 18 марта 1865 года, — об обществе женского труда. Оно повершило свой труд составления общества самым жалким и досадным образом. Так называемые учредители, то есть чьим именем хлопоталось о разрешении

---

[8] Там же, с. 75. Там сказано, что «Шершевский рекомендовал ее (Евгению Николаевну. — Н. Ч.) министру внутренних дел как женщину-врача при больной дочери». Шершевский Михаил Маркович, врач (род. в 1847 году). В 1880 году получил звание почетного лейб-медика.

[9] Костомаров Н. И. (1817—1885), русский историк и писатель. В 1862 году принимал участие в чтении публичных лекций в так называемом «Вольном университете». Сеченов И. М. (1 (13) авг. 1829 — 2 (15) ноября 1905), естествоиспытатель-материалист, основоположник русской физиологической школы. Помимо научно-педагогической деятельности, Сеченов всю жизнь занимался распространением естественно-научных знаний среди широких кругов населения. Горячо сочувствующий высшему женскому образованию, Сеченов был одним из основателей и постоянным преподавателем Бестужевских высших женских курсов в Петербурге.

[10] Бекетов Андрей Николаевич — ректор Петербургского университета.

[11] Воспоминания Ек. Ник. Пыпиной, с. 76—77.

и тому подобном, — барыни важные; хотя не они задумали это, но как-то не пришло никому в голову из неважных также назваться учредителем, думая, что это все равно. Когда собрание первое произошло (оно должно было выбрать администрацию и обсудить, каким путем должно последовать настоящее открытие), то этим важным не понравились неважные, и им показалось неприятным, что в общество могут забираться все, — нравится ли кто им лично или нет. Из неважных составилась своя партия, которая желала именно женского общества *труда,* а не какого-нибудь благотворительного; не поладили с первого разу, а между тем, все дело в руках *учредителей.* Вот теперь и бранят неважных за то, что поступили опрометчиво, не дождавшись открытия, сунулись в рассуждения, а важных — за все остальное. Вы, верно, видели в газетах объявление, что на время открытие отлагается, а между тем деньги возвращаются. Многие ждали с радостью этого общества, и вот чем кончилось» [12].

Всегда близко к сердцу принимает Евгения Николаевна все, что касается просвещения женщины.

«На днях, — пишет она родителям в феврале 1871 года, — многие барыни были сильно огорчены напечатанным в газетах мнением совета министров по поводу женского образования и допущения женщин к различным родам деятельности. Не дано ничего нового, напротив, многое или бывшее или готовившееся как будто сдерживают и ограничивают, а наконец даже запрещают заводить об этих предметах речь впереди. А сколько голов ждало решения этого в самом благоприятном для женщин смысле. Медицинскую карьеру считали уже своим достоянием и многие так прямо и говорили, что с будущей осени уже будут в Академии. — Опять несколько человек, как и прошлой весной, едут в Цюрих, эту обетованную землю. Там русских больше, чем других, и кажется еще долго будет их там много, пока не переварят мысли, что можно дать возможность научиться, не отправляясь за тридевять земель» [13].

---

[12] ЦГАЛИ ф. 395, ед. хр. 108, ч. II, л. 148. В статье Кудрина-Русанова Н. С. «П. Л. Лавров — очерк его жизни и деятельности» читаем: «Когда в Петербурге стало основываться Общество женского труда при ближайшем участии Стасовой, Анны Павловны Философовой и графини Ростовцевой, приглашенный в члены Лавров представил в свою очередь список новых членов. И характер этих членов, навербованных почти исключительно в рядах «нигилисток», показался учредительницам настолько страшным, что они отказались принять кандидаток Лаврова. На это последний ответил резкой речью о филантропии праздных барынь и насущной потребности в труде деловых женщин. В результате гр. Ростовцева и А. П. Философова отказались открыть общество; и министерство, которое разрешило открытие лишь этим знатным барыням, взяло назад свое разрешение». («Былое», 1907, № 2, с. 258—259).

[13] ЦГАЛИ ф. 395, оп. 1, ед. хр. 109, л. 139. Как известно, Надежда Прокофьевна Суслова и Мария Александровна Бокова поступили в Цюрихский университет, где и получили докторскую степень, в которой по

Из четырех сестер Евгения Николаевна стала ближе всех к А. Н. Пыпину. Она сделалась его ближайшим другом и помощницей в литературной работе, которую в ту пору он вел в «Вестнике Европы», причем приняла на себя черновую механическую часть труда, а именно: переписывание рукописей, чтение корректур и т. д. То же самое она делала и для другого своего брата — медика Петра Николаевича Пыпина, написавшего книгу «О морской болезни» в 1888 г.[14]. Занималась Евгения Николаевна и переводами, которые доставал ей Александр Николаевич[15].

Евгению Николаевну и Н. Г. Чернышевского связывала тесная дружба, в которой он играл роль вдохновителя и учителя, а она — роль серьезной вдумчивой ученицы. Она стала как бы живым отголоском идей автора «Что делать?» Ей принадлежат первые суждения о только что появившемся из крепости романе: в своих письмах за период с 1862 по 1864 годы (всего 68 писем с 9 октября 1862 по 19 декабря 1864) она дает ценный материал о периоде заключения Чернышевского в Петропавловской крепости. Содержание этих писем можно разбить на следующие разделы: 1) ход дела Чернышевского; 2) литературная деятельность Чернышевского в равелине; 3) личные впечатления от свиданий с Николаем Гавриловичем за это время[16].

Только в 1920-е годы, когда в музее Чернышевского к роману прикоснулась чуткая рука нового исследователя[17], всколыхнулись желтые листы старого архива, и над ними опять всплыло позабытое, почти никому не известное имя

---

colloquim'у были утверждены в России. Вслед за ними (1860—1870-е гг.) двинулась целая волна русских женщин в швейцарские университеты, что даже вызвало особое правительственное распоряжение, запрещающее русским женщинам посещение Цюрихского университета. Письмо Евгении Николаевны передает эту печальную страницу в истории женского образования в России.

[14] Экземпляр этой книги с дарственной надписью отцу (Н. Д. Пыпину) хранится в отделе «Редких книг» библиотеки-кабинета Дома-музея Н. Г. Чернышевского.

[15] В музейном архиве (осн. фонд, № 798) сохранилась рукопись Евгении Николаевны перевода с английского книги Бэна «Дух и тело» для Гольдсмита и Коробчевского с надписью Е. Н.: «Прошу сохранить!» (138 с.).

[16] Отрывки из этих писем опубликованы Н. М. Чернышевской в кн.: Неизданные тексты, материалы и статьи. Саратов, 1928, с. 301—317. Подлинники: ЦГАЛИ, ф. 395, оп. 1, ед. хр. 176.

[17] Я говорю об А. П. Скафтымове, авторе статьи о романе «Что делать?», в которой использованы данные «из рукописной работы Н. М. Чернышевской-Быстровой о Евг. Ник. Пыпиной, прочитанной в заседании Нижневолжского Научного Общества Краеведения 8 декабря 1924 года» (Скафтымов А. П. Роман «Что делать?». Его идеологический состав и общественное воздействие. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Саратов, 1926, с. 94).

девушки 60-х годов. Вопрос касался выяснения времени создания романа. Был ли он задуман в крепости в 1863 г., как утверждали исторические документы до сих пор, или же Чернышевский ранее наметил основной план романа и действующих лиц? Задуматься над этим приходится вот почему: многие исследователи Чернышевского утверждают, что под именем Лопухова и Кирсанова выведены исторические лица — Боков и Сеченов и что история замужества Веры Павловны есть история жены Бокова Марии Александровны. Но есть свидетельство, правда устное, но тем более ценное, что оно исходило из уст сына Чернышевского, всю жизнь изучавшего литературное наследие Николая Гавриловича, — свидетельство другого рода, опровергающее это предположение. «Вот, все говорят, — заметил Михаил Николаевич в 1922 г., обращаясь к Екатерине Николаевне Пыпиной, — что Чернышевский изобразил в «Что делать?» Боковых и Сеченова, а ведь первоначальные листы «Что делать?» были найдены еще в 50-х годах в Саратове, тогда как боковская история разыгралась гораздо позднее...» Екатерина Николаевна согласилась с этим.

В 1925 году (после смерти М. Н. Чернышевского) Екатерина Николаевна при упоминании об этом разговоре оживилась и подтвердила показание Михаила Николаевича, основываясь на словах Евгении Николаевны: «После того, как Николя уехал из Саратова, повенчавшись в 1853 г. с Ольгой Сократовной, Евгения Николаевна стала разбирать его комнату и нашла заметки будущего романа «Что делать?». Когда в 1863 г. роман был сдан в печать, она стала читать его и припомнила, что уже читала его в листочках»[18].

Куда девались потом эти листки, Екатерина Николаевна не могла припомнить. Возможно, что они сгорели при пожаре в доме Чернышевских в 1866 году. Возможно же, что они находились в связках бумаг, хранившихся на книжных полках в кабинете Гавриила Ивановича. Во время пожара эти полки были вынесены в соседний, Пыпинский дом, и поставлены в чулан, находившийся над кухней. Впоследствии бумаги провалились через пол в кухню, и Михаил Николаевич Чернышевский отыскал там разные семейные письма и бумаги, среди которых, возможно, и были эти листки.

В заключение приведу 2 письма Николая Гавриловича к Евгении Николаевне, написанные им в крепости, в которых

---

[18] Рассказ Ек. Ник. Пыпиной автору этих строк. «Неправомерно было бы элиминировать и семейные предания», — замечает С. А. Рейсер, специально исследовавший вопрос о прототипах романа (Рейсер С. А. Некоторые проблемы изучения романа. — В кн.: Чернышевский Н. Г. Что делать? Л., 1975, с. 823. Серия «Литературные памятники»).

он убеждает ее избрать или литературную дорогу, или медицинское поприще[19].

15 мая утро (1863 г.) № 4 (16 мая утро)[20].

Милая Евгеньичка, вчера я получил письма Твое и Сашеньки. Очень благодарен за них. Поздравляю Сережу с законным его браком, — но ведь мое поздравление уже не застанет его в Петербурге, — поэтому, как Ты можешь видеть, я пишу несколько слов и на другом полулисте, назначенном для отправления в Саратов. На этих полулистах не бывает никаких секретов от Вас, разумеется.

О себе Ты ничего не пишешь, «потому что не хочется говорить» Тебе о себе. Понятно. Но вот что: подумай серьезно о следующем моем мнении... Мне всегда казалось, — да и вся наша семья находила, — что Ты обнаруживала очень замечательную даровитость. Попробуй применить ее к литературе. Очень правдоподобно, что это удастся. А если удастся, то в таком случае, ничего другого и не нужно: тогда, имея независимость, Ты можешь устраивать Твою жизнь, как сама хочешь. Попробуй написать повесть. Не шутя, я полагаю, что она выйдет недурна. Ведь Ты очень много думала о жизни и людях, — а это главное; если это есть, то уж и довольно. Талант — вещь такая, которая дает всему двойную цену — но только; есть он у Тебя или нет, это будет видно; но и теперь можно б с уверенностью полагать, что у Тебя есть качества, которые достаточны для литературной карьеры, хотя б не оказалось у Тебя особенного художественного таланта. Если он окажется, тем лучше, но только. Напиши, что Ты думаешь. А я серьезно советую. Легче всего, вероятно, чисто субъективные повести, — то есть, переносить себя в разные положения и рассказывать то, о чем мечтал в хорошую или в дурную сторону, олицетворяя эти свои мечты в человеке, который под другим именем и в совершенно ином положении — все тот же автор. Это постоянно у Лермонтова, у Тургенева, у Гончарова. Это очень легко. Тут степень достоинства рассказа всего больше зависит от того, какое значение имеют мечты, любимые мысли автора. Но я указываю на этот род только для примера. Попробуй что-нибудь, все равно. Целую Тебя.

Твой Н. Ч.

Целую Тебя, милый Сашенька. Благодарю за Твое письмо. Целую Вас, Юлия Петровна.

---

3 июня 1863. Утро.

Милая Евгеньичка, я предлагал Тебе попробовать литературную дорогу к независимости в жизни, не зная еще, что

---

[19] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. XIV, с. 481—483.

[20] Пометка Е. Н. Пыпиной.

Ты вздумала выбрать другую — занятие медициною. Сашенька мимоходом упомянул, что Ты посещаешь лекции в Медицинской Академии. Если это серьезно, то лучшего ничего и не нужно, — только пусть же будет серьезно, чтобы получить диплом на звание медика и заняться медицинскою практикою — играть в посещение лекций не стоит: они вообще не так умны и интересны, чтобы годились для развлечения. Итак, если Ты наверное хочешь быть медиком, то нет надобности Тебе становиться литератором.

Если же Ты не думаешь совершенно серьезно о медицинской карьере, то испытай литературную. Ты говоришь, что очень горда и не хотела бы печатать вещей, которыми сама не была бы довольна. Это не возражение. Я тоже очень горд; из того, что я писал и печатал, нет ни одной страницы, которою я не пренебрегал бы, — и, однако ж, я напечатал и буду печатать груды. У кого есть состояние, может делать только то, что ему нравится; у кого нет состояния, печатает не для славы, а по житейской надобности, работает не из удовольствия, а из необходимости. Это не унижает... Было время, я — я, не умеющий отличить кисею от бережа, — писал статьи о модах, в журнале «Мода» — и не стыжусь этого. Так было нужно, иначе мне нечего было бы есть. Вот как надобно смотреть на свои произведения, и с этим взглядом можно пытаться, не удастся ли иметь от них кусок *своего* хлеба, который очень вкусен. — Попробуй. Если напишется что-нибудь прежде, чем устроятся мои отношения к белому свету, то пришлешь мне сюда написанное Тобою, — это не затруднит, я полагаю. — Но не спорю: медицина лучше литературы. Целую Тебя.

Твой Н. Ч.

Я остановилась на этих письмах, как на наиболее четкой и ясной иллюстрации взаимоотношений автора «Что делать?» с последовательницей его идей.

И. И. ДОЦЕНКО

ИЗУЧЕНИЕ ЧЕРНЫШЕВСКОГО НА УКРАИНЕ (1968—1978)

Советское литературоведение добилось заметных успехов в изучении творчества Н. Г. Чернышевского [1]. Свой вклад в освоение наследия вождя революционной демократии внесли и авторы литературоведческих исследований, опубликованных на Украине в последнее десятилетие *. Оно было отмечено выходом ряда монографических работ, тематических сборников, многочисленных статей, характеризующихся всесторонним изучением эстетических и литературно-критических взглядов, художественного творчества Чернышевского.

Как весьма примечательный факт следует отметить стремление большинства авторов выявить в многогранном наследии Чернышевского идеи, которые наиболее созвучны нашему времени, таят в себе внутренние возможности дальнейшего движения исследовательской мысли.

Не случайно внимание литературоведов было сосредоточено на раскрытии гуманистического, интернационального пафоса, общечеловеческого значения деятельности Чернышевского, которые приобретают особую силу в наше время — в эпоху созидания коммунизма. Такой подход к изучению Чернышевского отличает работы А. Дзеверина («В. И. Ленин о Чернышевском») [2], М. Зельдовича («В. И. Ленин и Чернышевский») [3], Е. Шаблиовского («Бу-

[1] См. об этом: Гуральник У. Художественный мир Чернышевского (по страницам изданий юбилейного года). — Вопр. литературы, 1979, № 8, с. 225—254.

* В ряде случаев анализировались также статьи украинских авторов, помещенные во всесоюзных литературоведческих журналах и сборниках.

[2] См.: Н. Г. Чернышевский и украинская литература. Киев, 1978, с. 3—16. Здесь и далее названия работ, изданных на украинском языке, даны в русском переводе.

[3] См.: В. И. Ленин и проблемы развития литературы. Ростов-на-Дону, 1972, с. 29—50.

дущее светло и прекрасно»)[4], Т. Резниченко («Интернациональный пафос творчества Чернышевского»)[5], О. Килимника («Наш современник»)[6], А. Пашука («Пламенный апостол человеческих прав»)[7]. В них подчеркивается, что Чернышевский выступал как последовательный революционер, поборник взаимосближения, дружбы народов, их взаимообогащения опытом социальной борьбы. На интернациональном характере эстетики Чернышевского заостряет внимание С. Шаховский. Он справедливо отмечает, что Чернышевский и его единомышленники строили свою концепцию революционно-демократической эстетики не только на материале русской литературы и искусства, но и других братских народов России[8].

Значительное место в исследованиях украинских литературоведов заняла проблема «Чернышевский и украинская культура»[9]. Особо следует выделить в этой связи фундаментальные труды Е. Шаблиовского — и прежде всего вышедшую в канун юбилея писателя монографию «Чернышевский и Украина»[10]. Как уже отмечалось в нашей науке, книга Шаблиовского отличается глубиной исследования поставленной в нем проблемы. Учитывая опыт своих прежних работ, достижения предшественников, автор в то же время ввел в научный обиход ряд новых данных о связях Чернышевского с передовой украинской культурой, поставил эту связь в широкий контекст общерусской освободительной борьбы[11]. Важной стороной работы С. Шаблиовского является укрупнение масштабов исследования данной проблемы. В книге выясняется воздействие Чернышевского не только на первостепенных деятелей украинской культуры, но и таких, как Н. Костомаров, М. Драгоманов, Д. Мордовцев и др.[12], — причем, автор делает это на значительно более широкой фактической основе, чем другие исследователи, обращавшиеся к данной теме. В монографии обстоятельно характеризуются отношения Чернышевского и Шевченко: им отведена отдельная глава. В книге С. Шаблиовского «Т. Г. Шевченко и русские революционные демократы», не-

---

[4] См.: Дніпро, 1978, № 7, с. 141—144.
[5] См.: Н. Г. Чернышевский и украинская литература, с. 162—185.
[6] См.: Вітчизна, 1978, № 7, с. 170—175.
[7] См.: Жовтень, 1978, № 7, с. 123—133.
[8] См.: Шаховский С. Эстетическое наследие и современное творчество. — Радуга, 1978, № 7, с. 139.
[9] См., напр.: Березовский И. П. Н. Г. Чернышевский и украинская культура. — Народна творчість та етнографія. Киев. 1978, № 5, с. 28—35.
[10] См.: Шаблиовский Е. С. Чернышевский и Украина. Киев, 1978.
[11] См.: Радянське літературознавство, 1978, № 11, с. 83—84.
[12] См.: Шаблиовский Е. С. Чернышевский и Украина, с. 189—190.

давно вышедшей вторым изданием, содружеству Чернышевского и Шевченко посвящены специальные разделы[13]. Пополненное новыми материалами по истории общественного и литературного движения периода первой революционной ситуации в России, новое издание книги глубже раскрывает ее стержневую идею о том, что в сотрудничестве Шевченко с лагерем революционной демократии России — и прежде всего с Чернышевским — с большой силой отразилась дружба двух братских народов, их совместная борьба за социальное и национальное освобождение. Отметим также статьи Е. Шаблиовского «Содружество в борьбе против царизма и крепостничества (Шевченко в годы первой революционной ситуации в России)»[14], «Чернышевский и украинская прогрессивная культура 50—60-х годов XIX столетия»[15], научно-популярную брошюру к юбилею писателя[16], послесловие к книге Н. М. Чернышевской «Н. Г. Чернышевский и Т. Г. Шевченко» и др.

В книге Н. М. Чернышевской[17] прослеживается история взаимоотношений великих сынов России и Украины. Опираясь на свидетельства современников, литературные источники, архивные документы, семейные предания, исследовательница собрала обширный материал, нередко впервые вводимый в научное обращение (например, восстановила цензурные изъятия из рецензии Чернышевского на пьесу Кукольника «Азовское сидение»), обогащающий наши представления о Чернышевском, его идейном содружестве с Шевченко. Несомненный интерес представляет основывающаяся на мемуарных источниках гипотеза исследовательницы о присутствии Чернышевского на похоронах Шевченко. Такие примеры можно было бы умножить. Книга Н. М. Чернышевской позволяет глубже осмыслить общность исторических судеб, культурного развития двух братских народов.

Большой интерес для изучения влияния Чернышевского на украинскую культуру представляет публикация Н. Крутиковой воспроизведенных по автографам ИРЛИ писем сына Марко Вовчок — Богдана Марковича[18], в которых он де-

[13] См.: Шаблиовский Е. С. Т. Г. Шевченко и русские революционные демократы. Киев. 1978, с. 49—119, 144—217 и др.

[14] См.: Проблемы истории общественного движения и историографии. М., 1971, с. 157—169.

[15] См.: Н. Г. Чернышевский и украинская литература, с. 63—73.

[16] См.: Шаблиовский Е. С. Николай Гаврилович Чернышевский. Киев, 1978; Он же: Революционер, мыслитель, ученый.— Под знаменем ленинизма. Киев. 1978, № 12, с. 54—55; Он же: Чернышевский и Шевченко в борьбе с крепостничеством. — Русский язык и литература в школах УССР. Киев, 1978, № 3, с. 20—25.

[17] См.: Чернышевская Н. М. Н. Г. Чернышевский и Т. Г. Шевченко. Воспоминания, заметки, материалы. Киев, 1978, с. 93—132.

[18] См.: Крутикова Н. Е. Из истории братских культур (Н. Г. Чернышевский и Марко Вовчок в письмах Б. А. Марковича). — Русская литература, 1972, № 4, с. 125—142.

лится с матерью впечатлениями от общения с Чернышевским: Б. Маркович встретился с ним в Астрахани, где оба отбывали ссылку. Заметим, кстати, что об этом О. Иваненко написана историческая повесть «Встреча в Астрахани»[19]. В письмах Б. Марковича приведены многочисленные свидетельства идейной близости Чернышевского с М. Вовчок, огромного внимания, которое он оказывал писательнице. Ценная публикация Н. Крутиковой имеет существенное значение не только для более полной оценки личности и творчества М. Вовчок, но и для характеристики Чернышевского последних лет его жизни. Влиянию Чернышевского на выдающуюся украинскую писательницу посвятил также свою статью А. Недзвидский — «Чернышевский и Марко Вовчок»[20].

Идеи Чернышевского явились важным фактором в становлении И. Франко, и как мыслителя, и как художника, — такова главная идея статьи Ю. Янковского «Предвестники будущего. Чернышевский и Франко»[21]. Сопоставляя и анализируя суждения Чернышевского и Франко, их творчество, Ю. Янковский показывает, что в условиях «самоизоляции» галицкой литературы именно автор «Эстетических отношений искусства к действительности» и «Что делать?» во многом определил формирование материалистических взглядов великого Каменяра, понимание им общественной роли искусства, становление оценочных критериев, литературных симпатий. Вместе с тем Ю. Янковский, как и другие исследователи, считает, что в творчестве Франко, усвоившего и в ряде моментов развившего эстетические принципы Чернышевского, уже сказались настроения пролетарского искусства, связанные с влиянием на великого украинского писателя марксистских идей. Творческое развитие эстетических принципов Чернышевского в свете социального опыта пролетарского этапа освободительного движения ряд авторов с полным основанием отмечает и в деятельности Л. Украинки, М. Коцюбинского, П. Грабовского[22]. Думается, однако, что это в принципе верное положение нуждается в более глубокой и всесторонней аргументации.

Статья Ю. Янковского вводит нас в русло важной проблемы, исследуемой советскими литературоведами, — значения эстетического наследия Чернышевского. Свой вклад в ее изучение вносят и ученые Украины. Отметим монографию Е. Шаблиовского «Эстетика Чернышевского и наша совре-

---

[19] См.: Вітчизна, 1978, № 7, с. 151—170.
[20] См.: Н. Г. Чернышевский и украинская литература, с. 80—94.
[21] Там же, с. 143—161.
[22] См.: Иваньо И. В. Чернышевский и традиции материалистической эстетики на Украине.— Радянське літературознавство, 1978, № 10, с. 28—37; Шаблиовский Е. С. Чернышевский и Украина, с. 279—285.

менность», в которой эстетические взгляды мыслителя-революционера характеризуются в органическом единстве с его революционно-демократическими идеями, с борьбой за освобождение народа. Автор раскрывает основополагающее значение эстетики Чернышевского для развития национальных культур России и славянских народов Европы[23]. Влияние Чернышевского на передовую эстетическую мысль Украины освещается и в статье И. Иваньо «Чернышевский и традиции материалистической эстетики»[24]. Автор находит немало общего в эстетических взглядах Чернышевского и Шевченко — в их материалистическом понимании природы искусства, в борьбе с идеализмом, в утверждении эстетического идеала крестьянских масс[25]. О творческой перекличке эстетических суждений Чернышевского и Шевченко пишет в упоминаемой выше работе Е. Шаблиовский. Общее в эстетике Чернышевского и Шевченко С. Шаховский видит в их высказываниях о сущности прекрасного, комического в искусстве, в оценке ряда примечательных явлений литературы того времени: например, сатиры М. Салтыкова-Щедрина[26]. Влияние материалистической эстетики Чернышевского И. Иваньо усматривает и в деятельности М. Драгоманова, хотя он и отличался непоследовательностью в понимании народности, идейности искусства в силу своего мелкобуржуазного реформизма. Настоящими наследниками эстетики Чернышевского на Украине стали революционно-демократические деятели В. Навроцкий, А. Терлецкий, И. Билык, П. Мирный и др., последовательно отстаивающие в конце XIX — начале XX вв. те же принципы, что и Чернышевский: тесную связь литературы с жизнью, общественную, активно преобразующую роль искусства[27].

Вопрос о значении диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» в борьбе с теорией «чистого искусства» неоднократно привлекал внимание литературоведов. Новые его грани освещает М. Зельдович в статье «В противоборстве с эстетизмом»[28]. Анализируя статьи 1856 г. М. Каткова («Пушкин»), П. Анненкова («О значении художественных произведений для общества»), которые появились как отклик на эстетический трактат Чернышевского и не были еще объектом специального изучения, М. Зельдович приходит к важным, вполне обоснованным выводам. Он считает, что диссертация Чернышевского спо-

[23] См.: Шаблиовский Е. Эстетика Чернышевского и наша современность. Киев, 1978, с. 87—112.

[24] См.: Радянське літературознавство, 1978, № 10, с. 28—37.

[25] См. также: Шевченковедение. Итоги и проблемы. Киев, 1975, с. 295—316.

[26] Радуга, 1978, № 7, с. 139—140.

[27] См.: Радянське літературознавство, 1978, № 10, с. 29—30.

[28] См.: Там же, № 6, с. 36—49.

собствовала отчетливой кристаллизации и размежеванию основных идейно-эстетических направлений в 50—60-е годы XIX в. в России. Знаменитая работа Чернышевского не только доказывала несостоятельность концепции «чистого искусства», но и вынуждала ее адептов маневрировать и в скрытой или явной полемике с автором «Эстетических отношений» отчетливо обнажать шаткость своих постулатов. Диссертация Чернышевского положила начало процессу оттеснения эстетизма на периферию общественно-литературного движения. Живые нити, связывающие «Эстетические отношения...» с эпохой 60-х годов XIX в. (борьба Чернышевского с эмпиризмом, схоластикой в критике и истории литературы «мрачного семилетия»), значение диссертации для поступательного движения русской литературы исследуются М. Зельдовичем в статье «Пафос критической мысли» [29].

Знаменательно, что Е. Шаблиовский, И. Иваньо, М. Зельдович и авторы других работ стремятся осознать созвучие эстетических принципов Чернышевского нашему времени, задачам общественно-литературного движения современной эпохи. Так, М. Зельдович, О. Килимник подчеркивают значение эстетических принципов Чернышевского в разоблачении антигуманной сути современной элитарной эстетики фрейдистов, сюрреалистов и других модернистских течений, абсолютизирующих абстрактную художественность, противопоставляя ее живой жизни [30].

И. Крук в статье «У истоков партийности литературы» [31] рассматривает вопрос о значении эстетики Чернышевского для теории социалистического реализма. Автор справедливо утверждает, что Чернышевский не мог еще в условиях отсталой России 60-х годов XIX в. подняться до партийности пролетарской, коммунистической, выступая от имени «партии народа», т. е. крестьянства. Но вместе с тем Чернышевский стоял у истоков формирования партийности искусства в нашем, сегодняшнем понимании и много сделал для подготовки общественной мысли к ее восприятию. Этот важный тезис И. Крук подкрепляет всесторонним анализом многочисленных суждений Чернышевского о литературе и искусстве. Предметом особого внимания исследователя стали требования Чернышевским четкой социальной позиции художника, его верности своим внутренним побуждениям, так как именно в этом требовании Чернышевский вплотную подошел к идее единства «личных пристрастий и интересов общества», «классового, эстетического и нравственного», являющейся одной из стержневых в коммунистической партийности. Ин-

[29] См.: Вопр. русской литературы. Львов, 1978, вып. 1, с. 12—19.
[30] См.: Радянське літературознавство. 1978, № 6, с. 48—49; Вітчизна, 1978, № 7, с. 173—174.
[31] См.: Н. Г. Чернышевский и украинская литература, с. 16—45.

тересно замечание И. Крука о том, что Чернышевский не случайно назвал в романе «Что делать?» революцию именем, близким сердцу, — невестой; это вытекает из его требования к писателю сделать общественные интересы глубоко личными, почти интимными[32]. Трудно не согласиться с мыслью автора, разделяемой и другими советскими литературоведами (Г. Тамарченко), что в понимании свободы творчества («писать о том, к чему лежит душа»), в критике права писателя на свободу от гражданских обязанностей, общественных интересов, в отчетливом осознании «тенденциозности» «чистого искусства» Чернышевский — прямой предшественник В. И. Ленина, квалифицировавшего «абсолютную свободу» художника как замаскированную зависимость от господствующих классов[33].

Вклад Чернышевского в мировую эстетическую мысль — один из аспектов статьи В. Щербины, опубликованной в журнале «Радянське літературознавство». Общечеловеческий смысл эстетических принципов Чернышевского, пишет В. Щербина, обусловливается тем, что он вместе с Добролюбовым разработал революционно-демократическую концепцию положительного героя. В ее основу положена мысль о единстве гуманистических идеалов и деятельности во имя их утверждения. Тем самым Чернышевский и Добролюбов способствовали преодолению огромнейшей драмы в истории общественной мысли человечества — разрыва между духом и деянием, открыли широкие исторические перспективы для развития мирового искусства[34].

Важность этого вывода со всей очевидностью уясняется в связи с широко пропагандируемой сегодня на Западе идеей полярности взглядов Чернышевского основному направлению художественного развития человечества. Чернышевского стремятся представить «узким утилитаристом», эстетика которого будто бы отвечала лишь сиюминутным потребностям революционной борьбы 60-х гг. и лишена общечеловеческого смысла.

Актуальное значение в связи с этим приобретают работы, раскрывающие органическую связь Чернышевского с магистральной линией художественно-эстетических исканий русской общественной мысли XIX в., близость взглядов вождя революционной демократии и эстетических принципов великих художников, его современников. Такую задачу решает В. Малинковский, сопоставляя эстетические суждения Чернышевского и Л. Толстого[35], выявляя у них, при всем раз-

[32] См.: Н. Г. Чернышевский и украинская литература, с. 23.

[33] См.: Там же, с. 32.

[34] См.: Щербина В. Р. Выдающийся революционер-демократ. — Радянське літературознавство, 1978, № 7, с. 28—46.

[35] См.: Малинковский В. П. Жизнь есть основа всего. — Вопр. русской литературы. Львов, 1978, вып. I, с. 3—12.

личии, немало родственного в трактовке народности, в понимании нравственного долга писателя перед обществом, познавательной, воспитательной и гедонистической функции искусства. Общечеловеческий смысл эстетической теории Чернышевского и Толстого в том, что она обращена в будущее, помогает людям сделать мир прекрасным — таков убедительный вывод исследователя.

Усилия литературоведов были направлены также на решение ряда кардинальных проблем литературной критики, художественного творчества Чернышевского.

Вопросам литературно-эстетических критериев и методологии критики в истолковании Чернышевского посвящена монография М. Зельдовича «Чернышевский и проблемы критики». В ней главным образом на материале «Очерков гоголевского периода русской литературы» и примыкающих к ним других статей Чернышевского дан анализ исторического и теоретического обоснования им творческих принципов революционно-демократической критики [36]. Характеристика метода Чернышевского-критика занимает большое место и в другой крупной работе М. Зельдовича, связанной с исследованием литературно-критического наследия Н. А. Добролюбова [37]. Внимание автора сосредоточено при этом на таких гранях критического метода Чернышевского, как глубокое понимание им закономерностей общественно-литературного движения, умение выверять значимость художественного произведения не только эстетическими, но прежде всего социально-политическими критериями, единство эстетического и публицистического аспектов анализа литературы и др., которые сделали Чернышевского «своевременным» критиком не только для эпохи 60-х гг. XIX в., но и для нашего времени. Большое внимание в работах М. Зельдовича уделяется стимулирующей роли критического наследия Чернышевского и Добролюбова в исследовании злободневных проблем теории современной критики: «Движущаяся эстетика и публицистика» [38], «Чернышевский и современные проблемы теории критики» [39]. Автор подчеркивает в суждениях Чернышевского такие положения, которые и поныне не утратили своего значения, обнаруживая свою конструктивную роль.

---

[36] См.: Зельдович М. Г. Чернышевский и проблемы критики. Харьков, 1968; Он же: Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов и русская критика их времени. Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Л., 1969; Он же: Необходимость Чернышевского. — Прапор, 1978, № 7, с. 113—123.

[37] См.: Зельдович М. Г. Уроки критической классики. Харьков, 1976; Он же: Добролюбов — критик поэзии. — Вопр. русской литературы. Львов, 1971, вып. 1, 2, с. 12—14, 12—22.

[38] См.: Прапор, 1978, № 1, с. 115—128.

[39] См.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Изд-во Сарат. ун-та, 1978, вып. 8, с. 189—206.

Место «Очерков гоголевского периода русской литературы» в идейно-творческом движении Чернышевского-критика — таков объект исследования в статье В. Капустина «Н. Г. Чернышевский как литературный критик в «Очерках гоголевского периода русской литературы»[40]. Автор рассматривает знаменитый цикл Чернышевского как обобщение его раннего критического опыта и в то же время как начало следующего — наиболее зрелого периода его критической деятельности, когда Чернышевский выступил во всеоружии революционно-демократической идеологии. В «Очерках...», по мнению В. Капустина, еще не приобрел своей диалектической завершенности историзм критика. Но здесь уже заметно сказались характерологические особенности его критического метода как такового: энциклопедический характер осмысления явлений литературы в тесной связи с философскими исканиями, историей общественного движения; масштабность мышления, органическое соединение конкретных оценок с широкими теоретико-эстетическими обобщениями, «раскованная» манера изложения, и т. д.

Недостаточно изученные аспекты литературно-критической деятельности Чернышевского рассмотрены в работах Н. Хмелюка и А. Слинько. Первая из них («Н. Г. Чернышевский о своеобразии художественного мастерства Л. Н. Толстого»)[41] привлекает рядом свежих наблюдений, касающихся оценки критиком мастерства психологического анализа великого писателя. Автор детально рассматривает, в частности, высказывания Чернышевского о мастерстве Толстого в раскрытии «диалектики души» представителей народа. Воронежский литературовед А. Слинько в статье «Идеи Чернышевского в литературно-критических суждениях Н. К. Михайловского»[42] разрабатывает малоизученный вопрос о влиянии литературно-критических взглядов Чернышевского на демократическую публицистику 70—90-х годов XIX в. В статье выявлены многочисленные нити, связывающие публицистику Михайловского с традицией, намеченной Чернышевским; это отчетливо проявилось в оценках публицистом-народником крестьянского демократизма Л. Толстого, творчества М. Салтыкова-Щедрина, «сурового реализма» в изображении народа демократической беллетристикой 60—70-х годов и т. д.

Известно, что проблема воспитания подрастающего поколения играет важную роль в наследии Чернышевского. Какое место в воспитании Чернышевский отводил литературной критике? Этот вопрос еще слабо освещен в нашем литературоведении. В. Перелишина и В. Руденко пытаются (и не безуспешно) в известной мере восполнить этот пробел в

[40] См.: Н. Г. Чернышевский и украинская литература, с. 185—206.
[41] См.: Там же, с. 206—220.
[42] См.: Вопр. русской литературы. Львов, 1978, вып. 1, с. 57—62.

статье «О некоторых принципах критики литературы для детей в статьях Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова»[43]. Как показывают авторы, Чернышевский и Добролюбов видели в критике своеобразную общественную педагогику. От обоснования возможности литературной критики для детей Чернышевский и Добролюбов пришли к разработке ее принципов. В их основе лежат идеи полного доверия к уму ребенка, отказ от морализаторства, приобщение подрастающего поколения к процессу формирования характера, чувств, убеждений великого человека и т. д. Они оставили нам замечательные образцы критической статьи для юношества — «Александр Сергеевич Пушкин», «Н. В. Кольцов».

Проблема читателя в художественных и литературно-критических произведениях Чернышевского не раз привлекала к себе внимание литературоведов. Однако ряд ее аспектов нуждается в дальнейшем изучении. Своеобразной и продуктивной представляется постановка этой проблемы в статье Э. Гайнцевой[44]. В 60-е годы, пишет автор, принципиально изменились взаимоотношения читателя с художественной литературой и литературной критикой. Читательская точка зрения перестала быть лишь отражением журнального мнения, а выражала резко возросшее самосознание, общественную активность разночинной интеллигенции. В ее суждениях демократическая критика находила идейную и нравственную опору в борьбе за реализм, за гоголевские традиции в литературе. Возросший уровень самостоятельности читателя во многом определил новые пути анализа демократической критикой художественного произведения. Э. Гайнцева прослеживает глубокие изменения в структуре литературно-критической статьи Чернышевского, в «механизме и формах» отношения автора с читателем, обусловленные пристальным вниманием, доверием Чернышевского к мнению читателя-друга, стремлением помочь ему избавиться от ошибочных суждений, «перевести его сознание на рельсы нового, материалистического, революционно-демократического понимания действительности», поднять уровень его сознания и таким образом формировать мнение читателя-единомышленника. Поэтому Чернышевский широко предоставляет слово демократически настроенному читателю, непосредственно включая его взгляды, соображения в свои статьи, большое место отводит в них анализу многочисленных суждений и оценок-отголосков позиций идейно разноречивой читательской массы. Следует согласиться с Э. Гайнцевой, что изучение функции читателя в статьях Чернышевского открывает новые пути к постиже-

[43] См.: Вопр. русской литературы. Львов, 1972, вып. 1, с. 73—79.

[44] См.: Гайнцева Э. Г. Проблема читателя в литературно-критической статье Н. Г. Чернышевского. — Русский язык и литература в школах УССР. Киев, 1978, с. 16—22.

нию их своеобразия и дает возможность утверждать, что образ читателя в романе «Что делать?», некоторые формы авторского общения с читательской аудиторией в определенной мере были подготовлены поисками Чернышевского в жанре литературно-критической статьи.

Некоторые аспекты историко-литературных воззрений Чернышевского явились предметом анализа в статьях В. Павличенко[45] и М. Шаблий[46].

Обратим внимание также на статью Н. Зимомри и С. Бобинца об атрибуции первой публикации о Чернышевском в Германии[47].

Естественно, одно из важных мест в работах литературоведов заняло изучение романа «Что делать?» Ряд исследований был посвящен художественной специфике романа. Упомянем прежде всего статьи М. Теплинского «Своеобразие сюжета романа Чернышевского «Что делать?»[48], «Художественное своеобразие романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?»[49]. В первой из них рассматриваются принципы сюжетостроения произведения, обусловленные особенностями его жанра как интеллектуального романа. «Могущество мысли» Чернышевского, как показано М. Теплинским, определяет всю художественную структуру произведения, объединяя в единое целое все его сюжетообразующие элементы. Пафос второй статьи М. Теплинского обусловливается стремлением обосновать особый характер «художественности» произведения Чернышевского, доказать несостоятельность широко распространенной в прошлом и в виде рецидива проявляющейся и сегодня недооценки эстетической значимости романа[50]. Автор полемизирует с теми, кто склонен объяснять влияние книги на читателей лишь глубиной мысли, богатством содержания произведения, отрицая его эстетические достоинства или замалчивая их. М. Теплинский показывает методологическую порочность подобного подхода, ведущего к противопоставлению содержания — форме; раскрывает значение ленинских высказываний для подлинно научной оценки книги Чернышевского. У автора «Что делать?» своя художественная система, и оценивать его роман, справедливо указывает М. Теплинский, следует, исходя из особенностей

[45] См.: Павличенко В. Д. Тезис Чернышевского о Белинском как первом историке русской литературы в научной историографии. — Вопр. русской литературы. Львов, 1978, вып. 1, с. 26—32.

[46] См.: Шаблий М. И. Идеи Белинского и проблема героя в историко-литературной концепции Чернышевского. — Там же, с. 33—43.

[47] См.: Зимомря Н. И., Бобинец С. С. История одной несостоявшейся публикации. — Там же, 1975, вып. 1, с. 129—132.

[48] См.: Там же, 1978, вып. 1, с. 77—83.

[49] См.: Н. Г. Чернышевский и украинская литература, с. 93—117.

[50] См. также: Руденко Ю. К. Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Эстетическое своеобразие и художественный метод. Л., 1979, с. 3.

именно этой системы, основываясь на тех законах, действие которых, по словам Пушкина, писатель сам над собой признает. М. Теплинский присоединяется к тем исследователям, которые, развивая концепцию А. В. Луначарского, назвавшего произведение Чернышевского «интеллектуальным романом», определяют его своеобразие наличием в нем социального эксперимента[51]. Автор считает даже, что книга Чернышевского — предвестник экспериментального романа Золя. Думается, однако, что такая точка зрения едва ли правомерна: при кажущемся сходстве романа Чернышевского с творчеством Золя и его сторонников многое их отличает. Впрочем, сам автор статьи вынужден подчеркнуть это отличие. Работа М. Теплинского побуждает к размышлению, к дальнейшему изучению «художественного мира» Чернышевского.

Статья С. Абрамович «К вопросу об искусстве речевой характеристики в романе Чернышевского «Что делать?»[52] полемична по отношению к тем исследователям, которые указывают лишь на логическое, рациональное начало романа и упускают из виду художественную выразительность, пластичность языка произведения. Автор обращает внимание на существенную роль языковых средств в создании характеров романа.

Раскрытию влияния романа «Что делать?» на украинскую литературу дооктябрьского периода посвятила ряд своих работ Н. Крутикова. В статье «Роман «Что делать?» и образы «новых людей» в украинской прозе 60—80-х годов XIX века»[53] она прослеживает, как произведение Чернышевского стимулировало идейно-эстетические поиски украинских прозаиков, помогало им в новых исторических условиях, в своеобразном творческом освещении создавать образы положительных героев 60—80-х годов XIX века. Воздействие бессмертного романа Н. Крутикова не без основания усматривает в произведениях М. Вовчок («Живая душа», «Отдых в деревне»), П. Мирного («Народолюбець», «Лихі люди»), И. Франко («На дні», «У кузні», «Малий Мирон»), отчасти И. Нечуя-Левицкого и др.

Особенно интересны наблюдения Н. Крутиковой о влиянии произведения Чернышевского на творчество Марко Вовчок. В упомянутой выше статье, в докладе «Н. Г. Чернышевский и Марко Вовчок» на юбилейной конференции она

---

[51] См.: Лотман Л. М. Социальный идеал, этика и эстетика Чернышевского. — В кн.: Идеи социализма в русской классической литературе. Л., 1969, с. 201; Ждановский Н., Шаталов С. Просветительские тенденции в реализме. — В кн.: Развитие реализма в русской литературе, в 3-х томах. М., 1973, т. II, кн. I, с. 323.

[52] См.: Вопр. русской литературы, Львов. 1978, вып. 1, с. 83—91.

[53] См.: Н. Г. Чернышевский и украинская литература, с. 117—143.

высказала предположение, что в своих романах «Отдых в деревне» и «Живая душа» писательница сознательно связывала положительных героев (в частности, образ революционера-профессионала Николая Гавриловича Кудрявцева) с самим Чернышевским [54].

Одно из важных направлений в изучении романа «Что делать?» — осмысление значения традиций Чернышевского-художника для развития современной советской литературы. В романе Чернышевского, подчеркивает в этой связи С. Шаховской, нашли свое художественное воплощение суждения выдающегося теоретика об интеллектуализации искусства, его способности выдвигать на первый план «объяснение жизни», «приговор» о ее явлениях. Поэтому роман «Что делать?» актуален в наше время, так как идеологические интересы, сознательная политическая жизнь, научное мышление, как никогда раньше, играют колоссальную роль в жизни человека. Ссылаясь на произведения украинских писателей (А. Головко, К. Гордиенко, Ю. Смолич, О. Гончар, П. Загребельный, Ю. Збанацкий и др.), Шаховской показывает, как они, творчески используя опыт классики (в том числе опыт Чернышевского-романиста), все шире разрабатывают такую структуру повествования, когда ее стержнем становится логика событий, жизненного процесса, стремятся утвердить интеллектуальные и моральные основы советского мировоззрения [55].

Заслуживают внимания суждения С. Шаховского о значении традиций Чернышевского-романиста для преодоления психологической и эмоциональной обедненности, свойственной некоторым произведениям советской литературы, в которых интеллектуальная правда не всегда, к сожалению, подкрепляется верностью психологической и моральной истине. В романах Чернышевского, как отмечал А. Луначарский, «умственные сокровища одеваются плотью высокохудожественных образов».

Конечно, вопрос о значении художественных достижений автора «Что делать?» для развития современной советской литературы (об этом пишут также в вышеназванных работах и Е. Шаблиовский, и М. Теплинский, и многие другие авторы) требует специального, более обстоятельного изучения. Но даже в порядке постановки он представляет несомненный интерес, стимулируя литературоведческую мысль в направлении углубленного исследования проблем «Чернышевский и художественная культура наших дней».

В поле зрения исследователей были также вопросы, важ-

---

[54] См.: Радянське літературознавство, 1978, № 9, с. 91.

[55] См.: Шаховский С. Эстетическое наследие и современное творчество, с. 142—150.

ные для изучения восприятия наследия Чернышевского современниками и последователями.

Назовем статью Т. Сальниковой, в которой рассматривается вызывающая споры в нашем литературоведении оценка романа «Что делать?» Н. Лесковым[56]. Новизна подхода Т. Сальниковой к решению этого вопроса определяется ее стремлением проанализировать статью Н. Лескова «Николай Гаврилович Чернышевский в его романе «Что делать?» как программное выступление писателя, а не как частный эпизод общественно-литературной борьбы 60-х годов XIX в. Это позволило автору прийти к убедительному, на наш взгляд, выводу. При всей противоречивости отношения к роману «Что делать?» (статья писателя не была полной поддержкой произведения), в целом голос Н. Лескова прозвучал «за, а не против Чернышевского». Вывод Т. Сальниковой важен не только в отношении Н. Лескова, но и для более точного представления об оценке знаменитого романа современниками Чернышевского.

В статье Е. Морозовой «Творчество Н. Г. Чернышевского в оценке А. В. Луначарского»[57] обращается внимание на необходимость более широкого использования опыта выдающегося критика-марксиста для изучения всех составных частей наследия Чернышевского — и особенно его художественного творчества. Е. Морозова подробно останавливается на суждениях А. Луначарского о жанровых особенностях романа «Что делать?», единстве реалистического и романтического начала в нем, о мастерстве психологического анализа писателя, которые не в полной мере еще учитываются в современных исследованиях.

Можно говорить, таким образом, о разностороннем интересе украинских исследователей к творчеству Чернышевского. Менее значительны достижения в изучении его биографии. Интересная статья, опубликованная в «Вопросах русской литературы» и освещающая судебный процесс по делу Чернышевского, принадлежит саратовскому литературоведу А. Демченко[58]. Автор расширяет и углубляет наши представления о Чернышевском периода ареста и следствия 1862—1864 годов, на широком документальном материале, в том числе и архивном, убедительно доказывает несостоятельность попыток цензора III отделения М. Касторского и провокатора В. Костомарова инкриминировать Чернышевскому составление антиправительственного, революционного воззвания.

---

[56] См.: Сальникова Т. С. Статья Н. С. Лескова о Чернышевском. — Вопр. русской литературы. Львов, 1970, вып. 3, с. 67—76.

[57] См.: Радяньске літературознавство, 1978, № 4, с. 44—54.

[58] См.: Демченко А. А. Записки о литературной деятельности Чернышевского среди материалов следствия 1862—1864 гг. — Вопр. русской литературы. Львов, 1978, вып. I, с. 19—26.

Л. Левандовский приводит ряд новых данных о взаимоотношении Чернышевского с В. Короленко, обращает внимание на интересные факты из истории издания его «Воспоминаний о Чернышевском», вносит уточнения в дату публикации очерка Короленко «Гражданская казнь Чернышевского»[59].

Достаточно интенсивное изучение на Украине наследия великого мыслителя и художника дает все основания ожидать дальнейшего плодотворного исследования украинскими литературоведами проблем современной науки о Чернышевском.

---

[59] См.: Левандовский Л. И. В. Г. Короленко о Чернышевском.— Радянське літературознавство, 1978, № 10, с. 49—56.

Г. В. ЯКУШЕВА

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В НЕМЕЦКОЙ КРИТИКЕ (1870—1945)

1

Великий сын России, которого Маркс считал одним из оригинальнейших мыслителей своего времени[1], Николай Гаврилович Чернышевский был десятками нитей связан с передовой мыслью, революционным движением и философией Запада, — и едва ли не самые прочные из этих уз соединяли его с Германией.

Энциклопедически образованный, Чернышевский с детства свободно владел немецким языком (из 225 его юношеских рукописей 12 написаны по-немецки), в течение многих лет активно переводил немецких авторов, — главным образом, историков, от Ф. Шлоссера до Г. Вебера (критическое отношение к 12-томной «Всемирной истории» Г. Вебера, реакционного буржуазного ученого, Чернышевский выразил, в частности, своими купюрами, вставками и комментариями). Мечтой Чернышевского, осуществлению которой помешала смерть, был перевод 16-томной энциклопедии Брокгауза.

На протяжении всей жизни Чернышевский внимательно изучал историю и социальные процессы Германии, вдохновляясь пафосом борьбы за единое немецкое государство, выступая против Германии обскурантов и тевтономанов, разоблачая культ Фридриха Второго и легенду об особой культурной миссии Пруссии.

Из всех литератур мира, кроме, разумеется, русской, именно немецкая вызывала наибольший интерес Чернышев-

[1] См.: Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. М., 1951, с. 187—188.

ского — литературного критика. Им написана монография о Лессинге, — по мнению германистов, заложившая, наряду с «Легендой о Лессинге» Ф. Меринга (но почти за сорок лет до нее), основы будущей марксистской трактовки образа великого немецкого просветителя.

Особое внимание, в связи со своей ориентацией на «пропедевтическую», воспитательную функцию искусства, уделял Чернышевский литературе немецкого Просвещения (может быть, даже несколько переоценивая ее роль в решении проблемы национального единства в обстановке экономического и политического убожества Германии XVIII века). Выдающийся русский критик значительно расширил, по сравнению с Белинским и Герценом, рамки изучения литературы немецких просветителей, проследив эволюцию их проблематики от Томазиуса до Шиллера и Гёте, подчеркнув, что литература немецкого Просвещения развивалась по линии демократизации своего содержания и формы, и дав в итоге наиболее научное в домарксистском литературоведении исследование этого периода.

Немецкий же романтизм, в котором Чернышевский не без полемической запальчивости видел прежде всего противодействие влиянию французской литературы XVIII века, французского просветительства и французской революции, вызывал его резкое неприятие «диким пристрастием к средним векам» и «тевтономанией». Но это не помешало Чернышевскому высоко оценить поэзию Гейне, положив начало новой, революционно-демократической трактовке творчества немецкого поэта, в котором приветствовал прежде всего сатирический дар и социально-критическую направленность.

Вообще же Чернышевский упрекал современную ему немецкую литературу в том, что в середине XIX века, во времена развития реалистического социального романа, она, по его мнению, не дала ни одного образца реалистического романа или драмы, достойных внимания за рубежами Германии.

Немало проницательных суждений оставил Чернышевский о творчестве Гёте и Шиллера. Указав на идейную и художественную противоречивость этих великих представителей немецкой культуры, Чернышевский высоко оценил антиабсолютистскую линию Гёца-Эгмонта, жизнеутверждающий пафос «Коринфской невесты» и «Бога и баядеры» Гёте, революционно-романтическую поэзию и драматургию «великого трагика» Шиллера; вместе с тем он выступил против компромиссного политического духа «веймарского классицизма», порицал характер гётевского Вертера за сентиментальность и расслабленность, критиковал «кантианство» Шиллера, его стремление подменить вопросы государственные и социальные вопросами эстетическими, его утверждение, что только

путем «красоты» можно достичь свободы (статья «Шиллер в переводе русских поэтов», 1857).

Интересны замечания Чернышевского о гётевском «Фаусте», которого русский критик связывает с эпохой Просвещения; особенно — диалектическое рассмотрение образа Мефистофеля, воплощающего, в трактовке Чернышевского, идею плодотворного революционного отрицания, находящегося в единстве с созидательной, творческой программой. Эту трактовку Мефистофеля немаловажно помнить для решения не прекращающихся по сей день споров о «нигилизме» Чернышевского.

Примечательно также, что Чернышевский одним из первых в России дал высокую оценку немецкому якобинцу, публицисту Георгу Форстеру[2].

Большой вклад, наконец, внес Чернышевский в изучение философии Германии. И именно классическая немецкая философия (одна из трех составных частей и источников марксизма) — в первую очередь материализм Фейербаха и диалектика Гегеля — в значительной мере повлияли на формирование Чернышевского — революционного мыслителя. Своеобразным «отталкиванием» от теории «незаинтересованного искусства» Иммануила Канта и его принципа «категорического императива» явился и призыв к социально-действенному искусству и этическая теория «разумного эгоизма» Чернышевского.

Но и сама Германия не осталась равнодушной к личности, судьбе и мыслям Чернышевского. Идейно-нравственные и политические установки, художественное и философское наследие великого русского революционера-демократа довольно быстро, по сравнению с рядом других зарубежных стран, становятся известными в Германии. Они будоражат души и умы лучших представителей немецкого народа, обостряют разногласие социально-политических лагерей, служат предметом споров, примером для подражания, объектом внимательного изучения.

Потому столь важной представляется попытка обозначить пути, по которым шло освоение духовного наследия Чернышевского немецкой литературно-критической мыслью — неразрывно связанной, естественно, с мыслью политической и с историко-революционными процессами времени[3].

---

[2] Отношение Чернышевского к немецкой литературе исследовано в СССР в кандидатских диссертациях М. М. Верховской (Н. Г. Чернышевский о немецкой литературе, Л., 1951), О. В. Мелихова (Литература немецкого Просвещения в оценке Н. Г. Чернышевского, М., 1955), А. А. Федорова (Гёте в оценке Н. Г. Чернышевского, М., 1953).

[3] Восприятию Чернышевского и его трудов в Германии 1861—1883 годов посвящена глава «Друзья и враги в Германии» книги Н. С. Травушкина «Чернышевский в годы каторги и ссылки» (М., 1978, с. 102—

Цель данной статьи — показать сложную картину восприятия философских и политических взглядов, художественного творчества Чернышевского в литературоведении и литературной критике Германии до 1945 года[4].

2

Прежде чем познакомиться с трудами великого русского демократа, немецкая общественность узнала о Чернышевском как о благородной и подвижнической личности, жертве царистского произвола, — и произошло это в конце 60 — начале 70-х годов прошлого века. Одним из первых источников информации стали публикации С. Л. Боркхейма, друга Маркса и Энгельса, близкого к русским революционерам[5]. В 1875 году в г. Лайбахе вышла большая книга Ф. Целестина «Россия со времени отмены крепостного права», в которой Чернышевский назван «главой русского радикализма», одним из вождей молодежи России (ему посвящено 25 страниц), и изложено содержание ряда его работ. В том же году в иллюстрированном журнале «Нойе вельт» («Neue Welt»), редактируемом Вильгельмом Либкнехтом, появилась статья «Заживо погребенный» с портретом Чернышевского[6].

К этому же времени, свидетельствуя о том, с какой политической остротой с самого начала воспринимался Чернышевский в Германии, относятся и нападки реакции на теоретические и художественные достижения Чернышевского. Так, в 1871 году царский агент Д. К. Шедо-Ферроти (псевдоним балтийского барона Фиркса) опубликовал пасквиль, направленный главным образом против романа Чернышевского «Что делать?», и распространил те устрашающие россказни о русских «нигилистах», которые были подхвачены позднее други-

---

109). Трактовку Чернышевского-мыслителя учеными ФРГ исследует В. М. Петраченкова в кандидатской диссертации «Русская революционно-демократическая мысль 60-х годов XIX века в современной буржуазной историографии ФРГ» — Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев (Критич. рассмотрение). М., 1976). Оценке Чернышевского современной западной, в том числе западногерманской русистикой, посвящена статья А. С. Сигриста «В погоне за антинигилистом» (Современная западная русистика о Чернышевском).— В кн.: Русская литература в оценке современной зарубежной критики. М., 1973, с. 85—116.

[4] Вторая статья, рассматривающая немецкую критику после 1945 года, будет опубликована в следующем, 10-м выпуске сборника «Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы».— *Ред.*

[5] Düwel Wolf. Geschichte der klassischen russischen Literatur. Berlin und Weimar, 1965, S. 598. См. также статью: Дювель В. Чернышевский в немецкой рабочей печати (1868—1889). — В кн.: Литературное наследство. М., 1959, т. 67, с. 163—205.

[6] См. об этом и вышеупомянутом факте в кн.: Козовой М. Н. Г. Чернышевский и вопросы исторического развития Германии. Киев, 1959, с. 211.

ми реакционными публицистами и верноподданической прессой Германии[7].

В начале 80-х годов XIX века проявился активный интерес немецкой читающей публики к русской литературе. В эти годы в Германии переводятся «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, «Война и мир», «Анна Каренина», «Власть тьмы» Л. Н. Толстого — и, в числе первых русских книг, роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Впервые это произведение было переведено на немецкий язык в в 1883 году. Уже в 1890 году осуществилось второе издание книги. В 1885 году Август Бебель в социал-демократической газете «Нойе цайт» («Neue Zeit») выступил с подробной рецензией на это произведение Чернышевского («Идеалистический роман»)[8]. А в 1892 году по прямому указанию Бебеля в беллетристическом приложении к «Нойе цайт» — журнале «Нойе вельт» появился новый перевод романа «Что делать?», выполненный австрийской социалисткой Эммой Адлер[9], поскольку Бебель счел, что в переводе 1883 года И. А. Брокгауза слишком много пропусков.

И с самого начала этот роман Чернышевского, как и другие его труды, постепенно становившиеся доступными в переводах немецкому читателю, был предметом споров и разногласий, своеобразно преломляющих борьбу различных социальных сил внутри самой Германии. Так, «Что делать?» было сразу же высоко оценено Августом Бебелем. Есть косвенное свидетельство тому, что роман понравился Энгельсу: в письме Минне Каутской от 26 ноября 1885 года он замечает, что современные русские явились в качестве «тенденциозных писателей» авторами великолепных романов[10].

Здесь надо особо сказать о высоком уважении и глубочайшем внимании, которое проявляли Маркс и Энгельс к личности и трудам Чернышевского, называя его, наряду с Добролюбовым, одним из двух «социалистических Лессингов» (Энгельс), «великим русским ученым и критиком» (Маркс), «великим мыслителем, которому Россия обязана бесконечно многим» (Энгельс)[11].

Известно, что К. Маркс, которому имя Чернышевского становится известным с конца 1867 года, собирал материалы

---

[7] См.: Düwel Wolf. Geschichte der klassischen russischen Literatur. S. 598.

[8] Bebel August. Ein idealistischer Roman (Rez.: Tschernyschewskij, «Was tun?», Leipzig, 1883). — In: Die Neue Zeit, Stuttgart, 3. Jg., 1885, Ss. 371—373.

[9] См.: Adler Victor. Briefwechsel mit Augus Bebel und Karl Kautsky. Wien, 1954, Ss. 81—82.

[10] См.: Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. 2. Berlin, 1966, S. 28.

[11] См.: К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. М., 1976, т. I, с. 493—501.

о жизни и деятельности русского революционера, намереваясь написать работу о нем. Есть свидетельства тому, что Маркс с особым вниманием знакомился с трудами Чернышевского[12] («Значительная часть его сочинений мне известна», — писал о Чернышевском Маркс 18 января 1873 года Н. Ф. Даниельсону[13]), способствовал публикации за границей его произведений (в том числе первого зарубежного издания романа Чернышевского «Пролог» в Лондоне в 1877 году); что желание прочесть в подлиннике «Дополнения и примечания» к Миллю явилось одной из причин, побудивших Маркса заняться зимой 1869—1870 годов изучением русского языка[14].

Показательным для определенной части тогдашней немецкой социал-демократии были суждения о романе «Что делать?» известного Роберта Швейхеля, выступавшего в «Нойе цайт». Соединяя точность наблюдения с предрассудками, свойственными буржуазно-либеральной критике, Швейхель находил фигуры романа Чернышевского слишком схематичными, неправдоподобными. Справедливо признавая свойственное Чернышевскому, как и другим крупным русским писателям, стремление воплотить в конкретных формах свой эстетический идеал, возникший под влиянием тесной связи с народом, Швейхель, однако, разделял распространенное на Западе (до сих пор!) заблуждение, что нигилизм составляет существенную часть духа русской литературы. К группе социал-демократов, судивших о русской литературе и, в частности, о Чернышевском, «спонтанно», без связи с классовой борьбой, относились также Эрнст Креовский, Георг Полонский, Ганс Дифенбах, Эрих Шлайкер, Герман Вендель, Аугуст Шольц[15].

В 1885 году появилась книга известного буржуазно-либерального литературоведа-русиста Эугена Цабеля «Очерки современной литературы России»[16]. Примечательно, что в специальной главе, посвященной роману Чернышевского «Что делать?», Э. Цабель отмечает принципиальную разницу между героями Чернышевского, верящими в светлое будущее

---

[12] Об истории знакомства Маркса с сочинениями Чернышевского см.: Düwel Wolf, Borkheim und die Černysevskij-Studien von Karl Marx.— In: Vorträge auf der Berliner Slawisten-Tagung. Berlin, 1958, Ss. 196—217.

[13] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд-е 2-е. М., 1955—1966, т. 33, с. 468—469.

[14] См. об этом в кн.: К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. М., 1976, т. I, с. 564, 567; Фридлендер Г. М. К. Маркс и Ф. Энгельс и вопросы литературы. М., 1962, с. 557.

[15] См.: Wegner Michael. Deutsche Arbeiterbewegung und russische Klassik. 1900—1918, Berlin, 1971, S. 127.

[16] Zabel Eugen. Literarische Streifzüge durch Russland. Berlin, 1885.

человечества, в позитивные нравственные ценности, и «настоящими» героями-нигилистами (например тургеневским Базаровым), прокламирующими тотальное отрицание.

При этом Цабель, вполне в духе буржуазно-либерального литературоведения, отметив страдальческую судьбу Чернышевского, выказывает полное непонимание его философии и эстетики. По его мнению, весьма показательному, Чернышевский — «чисто теоретическая натура, кабинетный ученый, который обозревает мир с высоты собственной библиотеки и хотел бы насильственно втиснуть явления действительности в определенные догмы». Черышевский, утверждает Цабель, полностью пренебрегает художественной формой, и с эстетической точки зрения его роман — «ряд столь же наивных, как и в своей частоте утомительных атак против всего, что называют вкусом, художественной фантазией и писательским даром...» [17] Отказывая Чернышевскому не только в таланте, но и в самостоятельном философском и социальном (здесь Цабель усматривает у Чернышевского всего лишь заимствование идей Фурье) мышлении, единственно психологически интересной признает исследователь линию развития Веры Павловны от «домашнего убожества» к трудящейся женщине [18].

Однако с явной насмешкой говорит Цабель о «фантастических» провидениях в снах Веры Павловны, в заключение квалифицируя автора романа как «посредственного наблюдателя и знатока людей, без следа оригинальности» [19].

Так буржуазный литературовед обнаружил не только недостаточное (впрочем, для его времени, может быть, простительное) знакомство с историей русской литературы и ее теорией, неспособность увидеть «Что делать?» в русле общеевропейской традиции просветительского философского романа, оценить оригинальность его стиля и композиции, принципов создания образов «новых людей» и выражения революционно-демократических устремлений, — но и плохое знание духовной и социальной атмосферы изучаемой им России второй половины XIX века, ибо анализ свой Цабель заключает недоуменным вопросом: как могла все же эта книга так сильно повлиять на русское общество?

Примером методологически путаного, эклектичного исследования, стремящегося быть объективным, но в то же время явно зависимого от многих либерально- и нелиберально-буржуазных эстетических и мировоззренческих шаблонов, стала фундаментальная книга Александра фон Рейнхольдта «История русской литературы от истоков до новейшего време-

[17] Ibid., S. 223.
[18] Ibid., S. 225.
[19] Ibid., S. 236.

ни»[20]. Определяя Чернышевского как «талантливого экономиста и критика, которого за радикальные взгляды и мощный голос трибуна называют русским Робеспьером»[21], Рейнхольдт, однако, сильно преувеличивает влияние Д. Милля на Чернышевского (вполне в духе своего заключения, что Россия, дескать, никогда не выходила за рамки эклектики в философии[22]) и представляет читателю русского критика как автора «антиэстетических сочинений» (видимо, поэтому диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности» не названа Рейнхольдтом среди наиболее значительных трудов Чернышевского).

А. Рейнхольдт отдает должное блестящему стилю, богатейшей сатирической палитре и разящей остроте критики Чернышевского, которая ставит его в один ряд с Белинским и Герценом. Констатируя, что роман «Что делать?» был долгое время «евангелием» русской молодежи, Рейнхольдт считает, тем не менее, что книга эта едва ли может претендовать на что-либо иное, как быть лишенным всякой поэзии и художественности воплощением социальной тенденции[23].

Наивно идентифицируя понятия «реализм» и «нигилизм», А. Рейнхольдт утверждает основными требованиями русских реалистов эмпирическую науку, социализм в аграрной теории, свободу совести, равенство полов, неприятие эстетики и чистой поэзии и утилитаризм в литературе[24]. Главными представителями такого «реализма» в журналистике немецкий ученый называет Чернышевского, Антоновича и Писарева.

«Логичным» выводом изо всех этих противоречивых и попросту ненаучных посылок следует заключение, что Чернышевский был «гениальным публицистом, но плохим беллетристом», который «своим известным романом «Что делать?»... скорее навредил делу реализма, чем послужил ему»[25]. Ведь герой его романа (скорее «социально-морального трактата», по мнению Рейнхольдта) Рахметов — «реалист в высшей степени», — есть «небылица», ибо «идеал, который он должен представлять, недостижим», это «никоим образом не живое существо, но миф, созданный в кабинете»[26].

Остается сожалеть, что русист Александр фон Рейнхольдт, как и упоминавшийся выше Эуген Цабель, также обвинявший Чернышевского в «кабинетности», были так плохо зна-

[20] Reinholdt Alexander von. Geschichte der russishen Literatur von ihren Anfängen bis auf die Neueste Zeit. Leipzig, 1886.
[21] Ibid., S. 672.
[22] Ibid., S. 805.
[23] Ibid., S. 673.
[24] Ibid., S. 716.
[25] Ibid., S. 717.
[26] Ibid., S. 718.

комы с историей написания романа «Что делать?». Иначе бы они знали то широко известное обстоятельство, что все основные персонажи этого романа имели своих реальных, жизненных прототипов — в том числе и Рахметов, в лице саратовского помещика Бахметьева, отдавшего часть своего состояния Герцену на нужды русской революционной печати.

Трудно не сослаться здесь, в частности, на изданную в ФРГ «Историю русской литературы» видного датского русиста Адольфа Стендер-Петерсена, где говорится: «...новые люди, которых он (Чернышевский. — *Г. Я.*) изобразил, были вовсе не продуктом фантазии»[27]. Также и западногерманский ученый из Тюбингена Вильфрид Шефер, которого отнюдь нельзя заподозрить в симпатиях к Чернышевскому и, особенно, к его главному художественному произведению, признает, что герои романа «Что делать?» в большинстве своем срисованы с живых людей из окружения Чернышевского[28].

В те же самые годы, когда либеральная буржуазная критика в Германии решала вопрос о «жизненности» героев Чернышевского, немецкая социал-демократия, как и русская революционная общественность, именно у Чернышевского брала политические уроки конкретной социальной борьбы. «Именно Чернышевский сыграл в духовном развитии многочисленных немецких социалистов выдающуюся роль», — говорится в воспоминаниях Карла Каутского[29]. Именно Чернышевский, признавал Каутский, помог глубже понять «русские дела», именно через него Каутский почувствовал то великое значение, которое Россия, ее политика, ее социализм имели для всего международного социалистического движения[30].

Огромное впечатление производила на немецкую социал-демократию, наряду с судьбами Кондратия Рылеева, Михаила Лермонтова, юного Достоевского, Короленко и многих других русских писателей, личная позиция Чернышевского, самоотверженного и непоколебимого в своей верности идеалам. Высока и справедлива была оценка Чернышевского, данная составителями биографического Словаря, вышедшего в прогрессивном издательстве И. Г. В. Дитца в 1901 году[31].

[27] Stender-Petersen Adolf. Geschichte der russischen Literatur, Bd. 1—2, Bd. 2. München, 1957, S. 350.

[28] Schäfer Wilfried. «Was tun?» — In: Lexikon der Weltliteratur, Biographisch-Bibliographisches Handwörterbuch nach Autoren und anonymen Werken, Bd. 1—2; Hrsg. von Gero von Wilpert; Bd. 2, Hauptwerke der Weltliteratur in Charakteristiken und Kurzinterpretationen. Stuttgart, 1968, S. 1141.

[29] Kautsky Karl. Erinnerungen und Erörterungen, Gravenhage. 1960, S. 455.

[30] Ibid., S. 456.

[31] Vaterlandlose Gesellen. Kurze Biographien der verstorbenen hervorragenden Sozialisten des 19. Jahrhunderts. Stuttgart, 1901.

С таким же заслуженным почтением, вслед за Марксом, Энгельсом, Бебелем, относились к Чернышевскому и другие выдающиеся немецкие социал-демократы, в том числе — Клара Цеткин. В 1888 году в статье «Русские студентки», особо отметив социальную значимость русской литературы, немецкая революционерка конкретизирует свою мысль на примере романа «Что делать?», ставшем «альфой и омегой русской молодежи», оказавшем огромное влияние на целое поколение, которое, по ее словам, «можно причислить к самому благородному и мужественному поколению всех времен»[32].

Значительна была и роль русских революционных деятелей в том, что в представлении немецкого рабочего класса был создан образ Чернышевского высокой духовной чистоты и действенной силы, предтечи международной социал-демократии (ранние работы Г. В. Плеханова, в том числе статья о Чернышевском в «Нойе вельт» от 1890 года, вышедшая в 1894 году отдельной книгой[33] и вызвавшая большой интерес Энгельса; работы П. А. Кропоткина, П. Л. Лаврова, Б. Н. Кричевского, статьи Н. Рязанова в «Нойе цайт»). Разработка этого образа была углублена Францем Мерингом, Германом Дункером, голландской социалисткой Генриэттой Роланд-Хольст и другими немецкими и зарубежными социал-демократами, выступавшими в немецкой прессе. (И не только социал-демократами — если вспомнить книгу М. фон Рейснера, отца известной русской советской писательницы и политической деятельницы Ларисы Рейснер, «Русские борцы за права и свободу»[34]).

Воинствующим духом марксизма было проникнуто выступление о Чернышевском в центральном органе социал-демократии газете «Форвертс», опубликованное к 20-летию со дня смерти русского революционера[35] и отмечающее уже ставшую традиционной связь социалистического движения в Германии с русской революционной демократией. Автор статьи осветил политическую борьбу Чернышевского за освобождение крестьян, против самодержавия и либерализма и не только пробуждал воспоминание о революционере Черны-

---

[32] Zetkin Clara. Die russischen Studentinnen. — In: Die Neue Zeit (Stuttgart), 6 Jg., 1888, S. 370.

[33] Книга вышла в упоминавшемся выше крупнейшем социал-демократическом издательстве И. Г. В. Дитца, начинавшего трудовую жизнь типографским рабочим в Петербурге, встречавшегося с Чернышевским и впервые в качестве самостоятельного труда напечатавшего именно сочинение Чернышевского.

[34] Reussner Michael von. Die russische Kämpfer um Recht und Freiheit. Halle, 1904.

[35] E. L., N. G. Tschernyschewsky. — In: Vorwärts, № 249, 24, 10. 1909 (2. Beilage).

шевском, но и выступал против либерально-буржуазной критики, которая именно в эти годы усиленно пыталась, искаженно трактуя образ русского революционного демократа, причислить его к духовным предкам либерализма.

Однако трактовка Чернышевского как проницательного теоретика искусства, талантливого писателя и блестящего публициста после 1910 года, в канун империалистической мировой войны, подверглась в немецкой социал-демократии под влиянием правооппортунистической идеологии, попыткам «либерализации».

Печальная заслуга принадлежит журналу «Социалистише монатсхефте» — органу ревизионистских сил партии. Здесь пытался фальсифицировать в либерально-ревизионистском духе литературное и политическое наследие Чернышевского Роман Стрельцов. Находясь под влиянием русского религиозно-идеалистического публицистического сборника «Вехи», он объявил Чернышевского, а также Герцена и Белинского всего лишь «интеллигентами» (пренебрежительное немецкое «Intelligenzler»), далекими от интересов народных масс, занимавшихся простым повторением идей западноевропейских ученых, — идей, для действия якобы абсолютно неприменимых[36].

Повлияли на искажение облика великого русского демократа и статьи Плеханова меньшевистского периода, в которых революционное, классовое содержание теорий Белинского, Герцена, Чернышевского было утрачено, а основное внимание обращалось на слабые стороны мировоззрения русского мыслителя (книга о Чернышевском 1909 года), всячески подчеркивался утопический характер его социального учения. Чернышевский становился в такой интерпретации всего лишь просветителем, приверженцем философии Фейербаха, а острота его революционно-демократических идей оказывалась притупленной.

Серьезной работой, противостоящей подобным фальсификациям, стала биография Чернышевского, написанная русским социал-демократом Юрием Стекловым, появившаяся на русском языке в 1909 году и уже в 1913 году вышедшая в Германии[37]. Правда, в полемическом запале Стеклов впадал в другую крайность: если Плеханов объявлял Чернышевского либералом, то Стеклов не замечал качественных различий между Чернышевским и марксизмом. Но главным в труде Стеклова было показать Чернышевского убежденным демократом, последовательным противником самодержавия,

---

[36] Streltzow Roman. W. G. Belinskij. — In: Sozialistische Monatshefte, 15. Jg., 1911, Bd. 2, Ss. 849—856.

[37] Steklow Georg. N. G. Tschernyschewskij. Ein Lebensbild. Stuttgart, 1913.

духовным вождем тогдашнего революционного движения. Особо отметил он самостоятельность теоретических достижений Чернышевского, его воинствующий материализм, основавший мировоззренческий фундамент молодой русской демократии.

Первая мировая война, спровоцировав взрыв шовинизма и реакционно-монархических сил внутри кайзеровской Германии, проложила свою демаркационную линию в немецком литературоведении, четкость которой становилась особенно заметной в отношении к русской литературе. Ожило наследие Виктора Хена, утверждавшего еще в 1858 году, что «из России не придет иной эры, кроме эры жестокости и разрушения»[38]; реакционного монархиста Эрвина Бауэра, возведшего шовинизм в доктрину и считавшего, что именно немецкая культура подарила русским метод исследования, школу мышления и ведущие идеи, упрекающего русский социальный роман, реалистическую новеллу и натуралистические очерки в том, что они содержат «добрую порцию яда», который приведет государственный и общественный организм «с дьявольской уверенностью материализма, нигилизма и анархии к убожеству»[39].

Это было направление, которое продолжили впоследствии главный идеолог немецкого фашизма Альфред Розенберг в «Мифе XX века», известный русист Пауль Эрнст, шовинистически монархистская критика русской литературы Фридриха Дукмайера, Теодора Шимана, Адольфа Бартельса и других вдохновителей немецкого империализма и расизма, активизировавшихся в период между двумя мировыми войнами и во время них.

Атмосфера шовинистического угара в Германии 10-х годов, а также страх перед революционными событиями, горячее пламя которых перекидывалось из России на Запад, сказались, к сожалению, и на некоторых солидных, либерального толка русистах, заметно «поправевших» в течение первой мировой войны.

Характерна в этом смысле эволюция крупного специалиста по русской литературе, берлинского профессора, доктора А. Брюкнера. В изданной в 1909 году «Истории русской литературы»[40], несмотря на замечание о «художественной слабости» романа Чернышевского «Что делать?», Брюкнер признает, что роман этот написан «с неоспоримым талантом и

---

[38] Hehn Victor. De moribus Ruthenorum. Zur Charakteristik der russischen Volksseele. Tagebuchblätter aus den Jahren 1857—73. Stuttgart, 1892, S. 61.

[39] Bauer Erwin. Naturalismus, Nihilismus, Idealismus in der russischen Dichtung. Berlin, 1890, S. 22.

[40] Brückner Alexander. Geschichte der Russischen Literatur. Zweite Aufgabe. Leipzig, 1909.

замечательным темпераментом»[41], что было это произведение для своего времени «откровением», и справедливо усматривает противостояние Чернышевского нигилизму в образе Рахметова, давшего молодежи тот идеал, который она тщетно искала в тургеневском Базарове.

В отличие от упоминавшегося выше А. Рейнхольдта, А. Брюкнер трактует здесь образ Рахметова не поверхностно, как некую вымышленно-аскетическую фигуру, но с пристальным проникновением в суть его, видя в Рахметове человека мощной воли, небывалой духовной и физической силы, титана мысли, в глубине души которого дремали, «как и у самого Чернышевского», эстетическое чувство, потребность в радости общения, шутка и смех, подавляемые сознательно ради высшей цели[42].

В 1919 году в новой «Истории русской литературы»[43] А. Брюкнер оценивает «Что делать?» уже иначе. Не без некоторой двусмысленности называя его «оптимистическим» и в то же время «утопическим» романом «со столь характерным для русских заголовком · «Что делать?», Брюкнер заявляет, что целью Чернышевского здесь была идеализация «нигилистов», свободных от всяких предрассудков, исполненных железной воли, предвидящих все последствия своих действий и, тем не менее, дающих всем своим стремлениям свободный ход[44]. Образом же Рахметова, в новой трактовке Брюкнера, русский писатель прославляет-де «аскетический идеал энергичного, целеустремленного пропагандиста новых идей»[45].

Самого Чернышевского Брюкнер называет здесь (также в известных, но далеко не лучших традициях немецкого буржуазного литературоведения) «фейербахианцем», находящимся под сильным влиянием англичан (Джон Милль), продолжающим, наряду с Добролюбовым и Писаревым, работу Белинского, интересную и нужную «интеллигенции» (слово взято в кавычки) — и только ей[46]. «Чернышевский прежде всего просветитель новой интеллигенции, — пишет Брюкнер,— народ для него пока инертная масса».

Стремлением сузить и «примитивизировать» роль Чернышевского как в социально-политической, так и в философско-эстетической сфере проникнута итоговая оценка Брюкнером русского мыслителя: «Он (Чернышевский. — *Г. Я.*) — позитивист и материалист, что у русских всегда объединяется

---

[41] Ibid., S. 398.
[42] Ibid.
[43] Brückner Alexander. Russische Literaturgeshichte, Bd. 1—2, Bd. 1. Von den Anfängen bis 1886. Berlin und Leipzig, 1919.
[44] Ibid., S. 111.
[45] Ibid., S. 112.
[46] Ibid., S. 111.

понятием «реалист» (сравним с «тождеством» реализм-нигилизм» у А. Рейнхольдта. Смутным же было представление некоторых немецких русистов о русском реализме — видимо, почерпнутое только из полемических статей Писарева! — *Г. Я.*); естественно, утилитарист, даже его эстетика в основе своей чисто утилитарна; искусство служит у него только просветительству, иллюстрации процессов, происходящих в природе и человеке; это ограниченное понимание искусства было еще больше сужено его последователями»[47]. И, словно забыв о своих похвалах десятилетней давности искрометному таланту Чернышевского, Брюкнер говорит о «суховатой, пресной, педантичной манере» автора «Что делать?»

Концептуально ложное прочтение Чернышевского предлагал в те годы и один из крупнейших впоследствии буржуазных русистов Карл Нётцель. В его представлении социально-критический пафос был вообще чужд русской литературе, которой свойственны, по его мнению, «бессилие, смирение и резиньяция»[48].

Однако прогрессивные силы Германии, лучшие из деятелей немецкой социал-демократии продолжали и в этот период сохранять в представлении немецкого читателя истинный облик русских писателей, в том числе Чернышевского.

В разгар империалистической войны Роза Люксембург вспоминала в тюрьме о Белинском, Герцене, Чернышевском и Добролюбове, отмечая их широкое воздействие на науку и беллетристику, характеризуя их как борцов, ведущих представителей русского освободительного движения. (Правда, Роза Люксембург переняла некоторые теоретические предрассудки от Плеханова, односторонне назвав Чернышевского, во введении к переведенной ею книге В. Г. Короленко «История моего современника», «старым гегельянцем»[49]).

С самого начала 20-х годов прогрессивные пресса и издательства Германии активно печатали русскую революционную критику, в том числе произведения Чернышевского. Газета «Роте фане» посвятила столетию со дня рождения Чернышевского, великого «утопического социалиста» и «революционного демократа», обширный материал, в котором подчеркивалось, что «дело Чернышевского, для которого Маркс находил слова величайшего уважения, перешло в руки того единственного класса, который видит выход из раб-

---

[47] Ibid., S. 112.

[48] Nötzel Karl. Das sozialistische Element in der russischen Dichtung. — In: Sozialistische Monatshefte, 21, Jg., 1915, Bd. 3, S. 1060.

[49] Это введение вошло в статью «Душа русской литературы» (1918). Цит. по кн.: Luxemburg Rosa. Die Seele der russischen Literatur.— In: Luxemburg Rosa, Schriften über Kunst und Literatur. Dresden, 1972, S. 72.

ства капитализма и является творцом нового общества»[50].

К сожалению, здесь не говорилось о романе «Что делать?», но пробел этот восполнила Фрида Рубинер в статье «Писатель в социальной революции», опубликованной в том же году, где выделялась именно «революционная писательская традиция Чернышевского, Добролюбова, Писарева» и Чернышевский назывался «учителем народа»[51]. В те же годы в журнале «Унтер дем баннер дес марксизмус» анализировались исторические сочинения Чернышевского[52]. Традиции Чернышевского живо чтились пролетарско-революционными немецкими писателями, обогащавшими его идейным и эстетическим опытом свои собственные художественные произведения[53].

Активизация реакционных сил, приход к власти фашизма сделали господствующими в официальном литературоведении Германии 30-х годов — начала 40-х годов империалистически шовинистический взгляд на русскую литературу как выразительницу «художественного рефлекса» «неполноценной» нации. В таком духе, в частности, трактовались русская литература и русские писатели («дети народа-варвара, народа-раба, не знающего, что такое свобода и гуманность») последователем традиций Ницше Паулем Эрнстом, чей иррационалистически националистический, интуитивно-психологический и, если так можно выразиться, примитивно-«этнографический» подход к литературным явлениям нашел яркое выражение в изданной в 1940 году в Мюнхене книге о мировой литературе[54]. В эти годы имя Чернышевского, как и других представителей революционной демократии в России, почти полностью исчезает со страниц изданий гитлеровского рейха.

Однако прогрессивная литературно-критическая мысль Германии, развивая лучшие традиции немецкой социал-демократии, обогащаясь опытом международного коммунистического движения и идейно-эстетическими достижениями советского литературоведения, преодолевала как антинаучность реакционных, фашистских «теорий», так и ограниченность

---

[50] M., N. G. Tschernyschewskij. Zum 100. Geburstag. — In: Rote Fahne, № 172, Jg. 11, 24 Juli, 1928, S. 9.

[51] Rubiner Frieda. Der Schriftsteller in der sozialen Revolution.— In: Die Front, Jg. 1, № 3, Nov. 1928. Цит. по кн.: Schmidt Horst. Deutsche Arbeiterbewegung und russische Klassik. 1917—1933. Berlin, 1973, Ss. 50, 252.

[52] Pokrowskij M. N. N. G. Cernysevskij als Historiker. — In: Unter dem Banner des Marxismus, Jg. 2, März — Nov., 1928, Heft 4; Ss. 438—465.

[53] Подробнее см. об этом в кн.: Schmidt Horst. Deutsche Arbeiterbewegung und russische Klassik, 1917—1933. Berlin, 1973.

[54] Ernst Paul. Völker und Zeiten im Spiegel der Dichtung. Aufsätze zur Weltliteratur. München, 1940, Ss. 8—9.

буржуазно-либеральных, методологически эклектичных концепций, — и продолжала отстаивать чистоту облика, смелость революционных идей, новаторство и высокую значимость художественного творчества Н. Г. Чернышевского.

Именно такое представление послужило в дальнейшем основой для трактовки духовного наследия великого русского демократа литературоведением и литературной критикой первого в мире немецкого социалистического государства, Германской Демократической Республики, а также прогрессивными и объективно мыслящими исследователями и публицистами Федеративной Республики Германии. Именно такое представление противостоит в 50—80-е годы XX века рецидивам прежних и появлению новых ложных и ошибочных толкований Чернышевского, предлагаемых рядом западногерманских литературоведов и критиков.

А. А. ДЕМЧЕНКО

К ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ НАУКИ О ЧЕРНЫШЕВСКОМ. ЕВГРАФ ИВАНОВИЧ ПОКУСАЕВ

Научное наследие доктора филологических наук профессора Саратовского университета Е. И. Покусаева (1909—1977) широко и разносторонне. Н. В. Гоголь, В. Г. Белинский, И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. Г. Чернышевский, Н. В. Успенский, А. М. Жемчужников, А. П. Чехов — таков далеко не полный перечень деятелей литературы XIX в., входивший в круг его исследований. Но основные силы ученого были сосредоточены на изучении творчества русских революционных демократов.

Работы Е. И. Покусаева о Чернышевском прочно вошли в историю советской науки о революционере-демократе. Их отличает методологическая основательность, глубина аналитического проникновения в факты писательской биографии и творчества, четкость формулировок и обобщений, мастерство литературоведческого слова.

В своих исследованиях ученый опирался на принцип историзма. Примечательную особенность его научных трудов составляло стремление понять явления общественной жизни и писательского творчества в широком контексте исторической и социальной их обусловленности. Е. И. Покусаеву чуждо понимание революционного демократизма как неизменной идеологической данности. Идеи и принципы революционного демократизма изучались им как постоянно развивающиеся, обогащающиеся опытом освободительной борьбы. Чернышевский исследуется с учетом сложности и противоречивости его идейного развития. Ученого интересует процесс становления его мировоззрения, эстетических и литературно-критических взглядов в конкретном соотнесении их с эпохой.

Эти представления о Чернышевском и революционном демократизме в целом складывались в процессе напряженных

исканий, всестороннего анализа историко-литературных и биографических материалов.

Сильные стороны исследовательского почерка Е. И. Покусаева отчетливо сказались уже в первой его научной публикации, где Чернышевский рассмотрен как автор статьи о «Губернских очерках» М. Е. Салтыкова-Щедрина[1].

Впервые в научной литературе того времени выступление Чернышевского анализировалось в конкретных сопоставлениях с отзывами либерально-дворянских критиков Щедрина. Суждения рецензентов периодических изданий «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Сын отечества», «Русская беседа», «С.-Петербургские ведомости», «Русский инвалид», предшествовавшие статье Чернышевского или появившиеся в печати вскоре после ее опубликования, проясняли особенность позиции критика-демократа. Исследователю важно было показать, что в отличие от либеральных публицистов, которые сводили сатирический пафос «Губернских очерков» к простому обличению частных сторон государственного аппарата и упрекали сатирика в резкости и «опасных преувеличениях», Чернышевский доступными ему средствами, в обход цензуры, разъяснил читателям смысл и значение скрытой в произведении писателя сатиры на самые устои крепостнического общества, и именно Чернышевский первым сформулировал главные черты реализма «Губернских очерков».

Реализуемая в статье Е. И. Покусаева методология, опирающаяся на конкретно-историческое освоение материала, позволяет глубже, чем это сделали предшественники, истолковать историко-литературную концепцию Чернышевского-критика в том ее виде, в каком она выразилась в рецензии на «Губернские очерки» и в статье «Сочинения и письма Н. В. Гоголя». Обращено внимание на строки о том, что, выступая последователем «гоголевского периода» в русской литературе, Щедрин строже, суровее, сравнительно с Гоголем, судит действительность. В силу ряда условий автор «Мертвых душ» не имел возможности усвоить стройную систему взглядов, передовое мировоззрение, которое позволило бы полнее и глубже разобраться в причинах обличаемого социального зла, и его сатирические изображения не были

[1] Покусаев Е. «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина и обличительная беллетристика 50-х годов в оценке Чернышевского и Добролюбова. — Учен. зап. Саратовск. пед. ин-та, 1940, вып. V, с. 32—84. Ссылки на страницы этой и других работ Е. И. Покусаева даются в тексте в скобках.

Статья 1940 г. составляла часть кандидатской диссертации, выполненной под руководством проф. А. П. Скафтымова и защищенной в 1939 г. (см.: Порох И. В., Прозоров В. В. Революционные демократы в исследованиях Е. И. Покусаева. — В кн.: Освободительное движение в России. Изд-во Сарат. ун-та, 1978, вып. 8, с. 120).

сознательно направлены против всего строя общественных отношений. «Чернышевский, — заключает исследователь, — пришел к выводам о недостаточности реализма Гоголя (в свете новых общественных задач литературы), имея под руками обширный и показательный идейно-художественный материал, который он извлек из тщательного критического разбора «Губернских очерков» Салтыкова» (42).

Книга Щедрина рассмотрена Е. И. Покусаевым в живом контексте движения обличительной литературы. Только на этом плодотворном пути могли открыться действительно глубокие характеристики идейно-художественного состава «Губернских очерков» и только так можно было выявить следы воздействия данного сатирического произведения на литературу середины XIX в. и прояснить отношение Чернышевского к обличительной литературе. Принцип историзма выдержан Е. И. Покусаевым с последовательностью ищущего истину.

Чернышевский и Добролюбов, как показывает автор статьи, встретили первые обличительные опыты Щедрина положительными отзывами, хотя и видели их эмпиризм и узость: такая позиция соответствовала «определенным политическим сдвигам в обществе, связанным с ростом оппозиционных настроений в отношении к существующему социальному строю» (61). К 1859 г. обличительство еще больше мельчает, «в массовой обличительной беллетристике прочно утвердился сюжетно-композиционный штамп, шаблонная выкройка персонажей, стандартные, избитые приемы повествования, что и не могло быть иначе при том скольжении по поверхности социальных явлений, при том обличительно-эмпирическом подходе к воспроизведению действительности, при той, наконец, внешней подражательности «Губернским очеркам», которые так характерны для изобличительных произведений конца 50-х гг.» В этих условиях революционные демократы выступили против дальнейшего распространения обличительства в литературе (53).

В прямую связь с новыми взглядами Чернышевского и Добролюбова на обличительство исследователь поставил решение ими проблемы положительного героя. «Чиновно-возвышенному», по его формуле, изображению в обличительной беллетристике В. Соллогуба, Н. Львова, Л. Пивоварова, К. Дьяконова и других безупречных ратоборцев за социальный прогресс, а в сущности, «благонамеренных фразеров», деятели «Современника» противопоставили «новых людей» как выразителей передовой идеологии, подлинных защитников интересов угнетенного народа.

Из статьи Чернышевского ученым извлечены важные теоретические, историко-литературные выводы, необходимые для глубокого прочтения «Губернских очерков». С другой сторо-

ны, достаточно полно представлена позиция Чернышевского как литературного критика и публициста — в ее эволюции и сложности.

Наблюдения Е. И. Покусаева ныне стали достоянием едва ли не всех работ, так или иначе затрагивающих отзыв Чернышевского о «Губернских очерках». В годы же, когда публиковалась статья, они заметно выделялись плодотворностью исходных методологических посылок, оригинальностью, новизной постановки задач, привлекали смелостью исследовательских решений.

Последующее изучение Е. И. Покусаевым творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина не оставляло темы Чернышевского, обраставшей новыми материалами и свежими, нетрадиционными истолкованиями уже известных источников. Ученый новаторски перерабатывает введенные специалистами в научный оборот данные, — отсюда нарастание полемической струи в самом методе исследования.

В новой большой статье «Н. Г. Чернышевский и М. Е. Салтыков-Щедрин»[2] детально проанализировано бытующее в научной литературе утверждение, что Чернышевский и Щедрин — идейные союзники в едином лагере крестьянской демократии 60-х гг. «...Это правильное положение, — пишет автор, — в значительной мере носит декларативный характер. Когда дело доходит до объяснения конкретных историко-литературных фактов, сюда относящихся, когда вплотную рассматривается позиция того и другого писателя в понимании и решении ряда общетеоретических и творческих проблем или тактических вопросов общественно-политической и литературной жизни России 60-х гг., то в этом случае предлагаются далеко не единодушные заключения и оценки, порой диаметрально противоположные» (35). «Конкретно», «вплотную» — вот слова-понятия, обнаруживающие методологическую силу исследователя, который изучает вопрос об отношениях писателей с учетом существовавших между ними напряженностей, расхождений. Тщательное изучение источников позволило научно объяснить историю их взаимоотношений: разноречия между ними «не были следствием их принципиального разномыслия в области мировоззрения, как не были они также следствием политического либерализма сатирика, а объяснялись известной незрелостью и скорее неотчетливостью, в сущности, уже стойкой демократической мысли Щедрина-художника. Эти разногласия были сняты самим Щедриным в результате дружественных разъяснений Чернышевского, под воздействием личного и общественного опыта» (35—36).

Всестороннее изучение темы привело к созданию обобщаю-

---

[2] См.: Учен. зап. Сарат. ун-та, 1948, вып. XIX, с. 35—101.

щего научного труда «Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы»[3]. В этом движении к монографии — закономерный путь ученого, овладевавшего крупным жанром литературоведческого исследования.

Книга высоко оценена специалистами. «Основной смысл исследования Е. И. Покусаева, — отмечал А. С. Бушмин, — сводится к доказательству того, что идейно-творческое развитие Салтыкова-Щедрина в 50-е и 60-е годы было значительно богаче, сложнее, противоречивее, чем это изображалось прежними исследователями. И несомненно, что тот сложный рисунок, который предложен исследователем, дает более верную и более полную характеристику пережитых Салтыковым фазисов идейного развития, эволюции его общественных взглядов»[4]. В этом «сложном рисунке» Чернышевскому отводилось ведущее место, связанное с магистральными линиями жизни и творчества сатирика.

В своих наблюдениях и выводах Е. И. Покусаев исходил из плодотворного в методологическом отношении тезиса о неоднородности революционного демократизма. Он пишет: «Рассматривать революционный демократизм суммарно, сплошь, недифференцированно — значит, скатываться к догматизму, искажать картину идейной жизни эпохи. Это подчас и делается теми, кто преднамеренно или непреднамеренно не замечает, например, эволюции политических взглядов Чернышевского, кто с умыслом или без умысла стирает различия в идейной позиции Герцена и Чернышевского, Писарева и Чернышевского, Щедрина и Чернышевского и т. д.» (126). Сформулированное здесь важное теоретическое положение соответствовало уровню современной научной мысли. Сошлемся, к примеру, на книгу Ф. Ф. Кузнецова, в которой справедливо названы антиисторичными любые попытки приравнять представителей революционных демократов-шестидесятников к Чернышевскому[5].

Спустя несколько лет Е. И. Покусаев назовет «общепризнанным» представление о революционном демократизме как явлении сложном, дифференцированном, развивающемся. Однако «этот верный теоретический тезис современного литературоведения далеко еще не раскрыт во всей глубине и богатстве социально-исторического содержания»[6].

---

[3] Покусаев Е. Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы. Саратов, 1957.

[4] Бушмин А. С. Сатира Салтыкова-Щедрина. М.—Л., 1959, с. 35—36. См. также: Бушмин А. Научный вклад в щедриноведение. — Русская литература, 1958, № 3.

[5] См.: Кузнецов Ф. Публицисты 1860-х годов. Круг «Русского слова». Григорий Благосветлов. Варфоломей Зайцев. Николай Соколов. М., 1968, с. 66—67.

[6] Покусаев Е. Особый литературоведческий жанр.— Вопр. литературы, 1973, № 10, с. 254.

В монографии Е. И. Покусаева о Салтыкове находим образец исследовательского раскрытия принятого воззрения на революционный демократизм. Под аналитическим пером ученого идейно-творческие связи и споры Щедрина с Чернышевским рассмотрены в сложных соотношениях их эволюционировавших взглядов. В предреформенные годы Чернышевский далеко не всегда выступал за революционное ниспровержение самодержавия. В 1857—1858 гг. он положительно отозвался о некоторых царских рескриптах по крестьянскому делу, «некоторое время ему казалось, что правительство сможет как-то к лучшему изменить положение крестьянства» (45). В 1858 г. Чернышевский счел возможным опубликовать в «Современнике» в извлечениях «Записку об освобождении крестьян» либерального деятеля К. Д. Кавелина, квалифицируя ее как «выражение наших собственных мнений и желаний»[7]. «Даже если, — читаем у Е. И. Покусаева, — посмотреть на статью-публикацию Чернышевского как на искусный тактический маневр, все же нельзя по ней заключить, что Чернышевский *уже* в эту пору до конца разглядел в либеральной программе «освобождения» помещичью классовую подоплеку, что он *уже* до конца видел в верховной власти в «данных конкретных исторических условиях»[8] прямого агента и пособника помещиков-крепостников. Такая точка зрения определится у Чернышевского со всей отчетливостью несколько позже» (88)[9]. Салтыкову также в ту пору были свойственны реформистские иллюзии, но в отличие от Чернышевского он преодолеет их значительно позднее.

Книга 1957 г. включала материалы прежних статей Е. И. Покусаева. Однако они были значительно переработаны в соответствии с концепцией и жанром нового труда. Сопоставление текстов обнаруживает тщательную, взыскательную работу исследователя над формулировками, которые должны были отразить достижения методологии, обретенной в процессе изучения материала. Смысловая выразительность, точность, законченность, емкость, убедительность, предельное соответствие факту — таковы искомые им качества научной формулы. Приведем некоторые примеры этой работы.

В статье 1948 г. говорилось, что приехавшему в столицу в 1856 г. Салтыкову трудно было разобраться в сложной общественной, литературной обстановке. Неточная фраза

---

[7] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. V, с. 108.

[8] Е. И. Покусаев цитирует здесь одного из исследователей, апеллировавшего к принципу историзма чисто формально.

[9] Исследование более широкого круга источников подтверждает выводы Е. И. Покусаева (см. в нашей статье «Из истории размежевания революционных демократов с либералами. Чернышевский и Кавелин».— В кн.: Освободительное движение в России. Изд-во Сарат. ун-та, 1979, вып. 9, с. 22—32).

«Помог ему в этом Чернышевский» (37) изменена в монографии: «Однако всем своим предшествующим развитием Салтыков был подготовлен к тому, чтобы сочувственно, положительно отнестись к идеям, пропагандировавшимся Чернышевским на страницах «Современника» (26). В предложении «Щедрин и Чернышевский еще в 40 гг. прошли сходную общую школу идейных революционных исканий» (37) убрано слово «общую», стилистически излишнее, и слово «революционных» (26). Вместо: Чернышевский «в какой-то мере внушил Щедрину мысль возобновить литературную деятельность» (38) — «помог укрепиться в мысли продолжить творческую деятельность» (28). В статье присутствовала следующая формулировка: Чернышевский видел в «Губернских очерках», «в полном согласии с авторской точкой зрения, не сатирический поход против взяточников и отдельных частных пороков государственной системы, а осознанно революционное отрицание самодержавно-крепостнического строя России в целом» (43). В монографии слова «в полном согласии с авторской точкой зрения» отсутствуют, заключительная же часть фразы о «революционном отрицании» заменена: «обличение негодных основ самодержавно-крепостнического строя» (55). В цитируемой ниже части текста выделенные курсивом слова и выражения не вошли в монографию: «*Суровый* пафос негодования Щедрина, беспощадность его обличений многочисленных зол и неправд монархической, крепостнической России есть, как объяснял Чернышевский, прямое следствие его передового мировоззрения, *его стойкого демократического сознания,* есть результат *открытой* (исправлено на «последовательной». — *А. Д.*) ориентации писателя на народ, *как на единственную реальную общественную силу, способную преобразовать жизнь России на новых справедливых социальных началах.* Сравнение Гоголя и Щедрина в плане историко-литературной преемственности, *в перспективе своеобразного перерастания критического дворянского реализма в реализм революционно-демократический* не было у Чернышевского в исследуемых работах чем-либо случайным, *эпизодическим*» (46—47; 59).

Накопленные в работе над творчеством Салтыкова-Щедрина материалы составляли солидную базу для самостоятельной книги о Чернышевском. Ее появлению в печати предшествовал ряд публикаций, в которых уже ясно обрисовались принципы создания новой монографии. Это были рецензии на только что вышедшие биографические работы. Первая из них посвящена книгам Н. М. Чернышевской [10].

[10] Чернышевская Н. М. Н. Г. Чернышевский в Саратове. Детские и юношеские годы. Саратов, 1948; Чернышевская Н. М. Чернышевский в Саратове. Саратов, 1949. Покусаев Е. Н. Г. Чернышев-

Обращают на себя внимание следующие моменты этой рецензии, проливающие свет на творческие установки ее автора.

Отмечено, что автор рецензируемой книги «не игнорирует» фактов, свидетельствующих об известной сложности и противоречивости в творческом развитии будущего автора «Что делать?» (149) — Е. И. Покусаев всегда вкладывал в это положение принципиальный смысл, и оно впоследствии плодотворно реализуется в его монографии о Чернышевском.

Критические замечания относились в основном к «ответственным формулировкам и выводам» — постоянная забота Е. И. Покусаева-исследователя. Рецензента настораживает категоричность иных заявлений, элемент беллетризации, едва ли уместный в научном, документальном изложении материала и отдающий «сентиментальной литературщиной». Стилевое смешение снижает достоинства книг. Рецензент нацеливает автора на создание «законченной научно-документальной монографии» (151—152).

В рецензии на новое издание книги Н. М. Чернышевской[11], «нужную, полезную работу» (92), Е. И. Покусаев повторил и расширил свои замечания. «Все же несколько обедненно и неглубоко» дана картина идейного роста Чернышевского, недостаточно использованы материалы его дневников, в которых «конкретно и правдиво, — пишет Е. И. Покусаев, — обозначены своеобразные этапы идеологического отхода Чернышевского от сословной среды, живущей традиционными понятиями патриархального мировоззрения». Когда рецензент отмечал, что в книге Н. М. Чернышевской порой без достаточной аргументации и фактических доказательств выдвигаются положения, еще нуждающиеся «в серьезном исследовательском анализе и проверке», он имел в виду факты и материалы, уже обстоятельно изученные им для своей монографии. Так, автором рецензируемой работы «категорическим тоном» заявлено, будто Чернышевский-семинарист «у Герцена почерпнул блестящую формулу диалектического развития». В книге Е. И. Покусаева в точном соответствии с источниками показано: обусловленный изучением произведений Герцена этап идейного развития связан в жизни Чернышевского с более поздним периодом. Н. М. Чернышевской недостаточно полно учтен тот факт, что знакомство с произведениями Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Кольцова, Диккенса, Ж. Санд «формировало духовный рост

ский в Саратове. — Литературный Саратов, 1950, кн. 12, с. 146—152. Те же книги рецензировались Е. И. Покусаевым в областной газете. См.: Коммунист (Саратов), 1949, 15 марта и 1950, 7 апреля.

[11] Чернышевская Н. М. Н. Г. Чернышевский в Саратове. Саратов, 1952. Покусаев Е. И. Литература и краеведение. — Советская книга, 1953, № 2, с. 92—95.

юноши, возбуждало критические мысли об окружающем». В монографии Е. И. Покусаева читаем об этом: «Их великие творения внушали гуманные мысли и чувства, будили свободолюбивые стремления, учили ненавидеть угнетение, бесправие, многоликую пошлость». «Требует, — пишет рецензент, — дополнительного подтверждения фактическими данными ответственное сообщение, что Чернышевский побывал в августе 1861 года в Саратове не только с целью навестить отца, но главным образом для того, чтобы собрать сведения о крестьянском движении и встретиться с лицами, связанными «с той революционной организацией, — цитирует из книги Е. И. Покусаев,— которую он сам возглавлял» (94). Этот факт не нашел подтверждения в биографических материалах, и о нем в книге Е. И. Покусаева не упоминается.

Принципиальными, проверенными собственными исследовательскими разысканиями были критические замечания, адресованные другим авторам биографических книг[12], отзывы о которых содержались в той же рецензии Е. И. Покусаева.

Работа Ф. Майского, представляющая интерес в фактическом отношении, изобилует неточностями и ошибками, в целом она «не отвечает научным требованиям», в ней «преобладает описательство» (95). Рецензент отмечает вклад К. Ерымовского в разработку астраханского периода жизни писателя, но, соглашаясь с опубликованными в центральной печати отзывами[13], полагает, что в книге необходимо усилить «научно-исследовательский элемент», устранить «встречающуюся кое-где искусственную беллетризацию материала» (95). В то же время Е. И. Покусаев убежден: рецензируемые работы, даже если их авторы учтут все рекомендации, не могут удовлетворить потребности в обстоятельных научных монографиях на избранные темы.

К тому времени Е. И. Покусаев сформулировал цели и задачи посвященного Чернышевскому монографического исследования. Его книга о революционном демократе[14] составила важный этап на пути к этой итоговой, обобщающей работе.

Жанр критико-биографического очерка, в котором выполнена новая работа Е. И. Покусаева, был чрезвычайно рас-

---

[12] Майский Ф. Н. Г. Чернышевский в Забайкалье (1862—1871). Чита, 1950; Ерымовский К. Чернышевский в Астрахани. Астрахань, 1952.

[13] Имеется в виду рецензия В. В. Жданова, опубликованная в «Литературной газете» от 2 сентября 1952.

[14] Покусаев Е. Н. Г. Чернышевский (критико-биографический очерк). Саратов, 1953. Извлечения из книги перепечатывались в статье Е. И. Покусаева «Великий революционер-демократ». — Новая Волга, 1953, кн. 18, с. 122—144. Книга переиздавалась в 1955 (Саратов), 1960 (Москва), 1967 (Саратов), 1976 (Москва).

пространен в те годы. Он возник как закономерное следствие осваиваемых советскими учеными методологических достижений литературной науки. Е. И. Покусаев писал в 1950 г., что в последнее время литературоведы сделали «большие успехи в создании монографических работ, в которых жизнь и деятельность писателя раскрывается не изолированно, а в тесной связи с его общественно-социальным окружением, с учетом многообразного воздействия этого окружения на писателя»[15]. Отмеченный здесь принцип жизнеописания стал для книги Е. И. Покусаева основополагающим. В последнем, пятом издании своего труда автор особо подчеркнул стремление показать литературное наследие Чернышевского «на фоне крупных исторических событий и процессов эпохи, с большей или меньшей подробностью излагая его общественно-политические, философские и экономические воззрения»[16].

В работе над переизданиями очерка автор совершенствовал его структуру, содержание, стиль. Книга источниковедчески обогащалась, каждый раз отражая современное для данного издания состояние науки о Чернышевском. В 1960 и 1976 гг. она выходила в Москве в качестве пособия для педагогов-словесников. Монография получила высокую оценку работников высшей школы[17].

В книге Е. И. Покусаева немало идей, щедро предлагаемых будущим исследователям. Так, в пятой главе (издания 1976 г.), где речь идет о сочувственных упоминаниях Чернышевского на страницах передовых русских журналов 1870-х гг., приведены некоторые факты, открывающие еще не разработанный пласт идеологической жизни России. «До сих пор, — говорится здесь, — еще не собраны и не обнародованы ценнейшие материалы, хранящиеся в архивах публицистов и писателей, сотрудничавших в «Отечественных записках», особенно письма читателей, а также и другие документы, которые свидетельствуют об активном, необыкновенно действенном влиянии сочинений Чернышевского на умонастроения демократической интеллигенции 70—80-х годов» (202). Эта тема ждет исследователей.

В характеристике этапов формирования мировоззрения Чернышевского автор обращается как к авторитетному первоисточнику к его автобиографическим заметкам. В них Чернышевский «набрасывает что-то вроде сатирической летописи, воспроизводящей и обличающей жизнь правителей родного ему города. С щедринской силой иронии и насмеш-

---

[15] Литературный Саратов, 1950, кн. 12, с. 147.

[16] Покусаев Е. И. Н. Г. Чернышевский. Очерк жизни и творчества. Пособие для учителей. М., 1976, с. 9.

[17] См.: Петрова Е., Резник Р. Евграф Иванович Покусаев (к шестидесятилетию со дня рождения). — Филологические науки, 1970, № 3, с. 124.

ки, — пишет Е. И. Покусаев, — Чернышевский рассказывает о диких нравах, казнокрадстве саратовских пампадуров-губернаторов...» (16). Сравнение с Щедриным восходит к брошенному однажды вскользь замечанию в одной из рецензий: Чернышевский в «Автобиографии» «набрасывает злую сатирическую «Историю Саратова» почти в духе щедринской «Истории одного города»[18]. Ясно, что здесь высказана идея интереснейшего литературоведческого сюжета[19].

Работа над «очерком жизни и творчества» осознавалась автором как движение к выполнению более важной исследовательской задачи: научной биографии Чернышевского. Одновременно с этим говорилось о необходимости издания академического «Полного собрания сочинений и писем» и обширного монографического труда «Библиография сочинений Н. Г. Чернышевского и литературы о нем». При этом высказывалась уверенность в научных силах саратовских специалистов, готовых участвовать в подготовке этих капитальных изданий[20].

Постоянной заботой ученого был методологический уровень осуществляемых исследований по Чернышевскому[21]. По его глубокому убеждению, исследователи-саратовцы обязаны сознательно поддерживать и развивать традиции «саратовской школы», существование которой возможно только в тесных связях с учеными других научных учреждений и вузов страны[22]. Отсюда его активные и успешные поиски межвузовских контактов. В историю изучения Чернышевского Е. И. Покусаев вошел и как исследователь, и как организатор науки. Ученый «обладал замечательным даром общения, искреннего и умного участия, пристальной заинтересованности всем, что делали его товарищи по профессии и работе. В этом сказывалось не только его человеческое обаяние, это была и деятельная, продуктивная форма работы его научной мысли»[23].

[18] Советская книга, 1953, № 2, с. 672.

[19] Насколько содержательной оказалась неожиданная на первый взгляд параллель, показывает обращение к этой теме в обстоятельной статье А. П. Грачева «Н. Г. Чернышевский и М. Е. Салтыков-Щедрин» (см. в кн.: Поэтика русского реализма второй половины XIX века/Под ред. Б. О. Кормана. Ижевск, 1978, с. 23—41).

[20] См: Покусаев Е. И., Порох И. В. Жизнь и деятельность Н. Г. Чернышевского в трудах саратовских ученых. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Изд-во Сарат. ун-та, 1962, вып. 2, с. 312.

[21] См.: Методологические вопросы литературной науки/Под ред. Е. И. Покусаева. Изд-во Сарат. ун-та, 1973. В составе сборника статья Б. И. Лазерсон «Ленинская система оценок творчества Чернышевского».

[22] См., напр., его рецензию на кн.: Дело Чернышевского. Сборник документов/Подг. текста, ввод. статья и коммент. И. В. Пороха. Общ. ред. Н. М. Чернышевской. Саратов, 1968. — Коммунист (Саратов), 1969, 23 марта. С некоторыми изменениями перепечатано: Волга, 1978, № 7, с. 116—119.

[23] Ленинский путь (СГУ), 1977, 23 сентября.

На кафедре русской литературы Саратовского университета, возглавляемой Е. И. Покусаевым с 1951 г., крепли и развивались заложенные А. П. Скафтымовым традиции научного изучения Чернышевского. В 1958 г. состоялся выпуск сборника «Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы», его ответственным редактором был Е. И. Покусаев. Наряду с саратовцами в нем участвовали ученые Москвы, Ленинграда, Тарту, Казани и других городов. Сборник сразу же привлек внимание научной общественности. Его тематика «исключительно актуальна и разнообразна», в опубликованных материалах «поднимается и решается ряд новых и важных проблем, связанных и с изучением личности Чернышевского, и с изучением его мировоззрения, и с изучением истории русской литературы и общественно-политической мысли XIX века вообще»[24].

Успеху сборника во многом содействовало редакторское мастерство Е. И. Покусаева, выполнявшего многотрудную, хлопотливую, ответственную работу. Последовавшие выпуски (1965, 1968, 1971, 1975, 1978) расширили авторитет кафедры как коллектива, целенаправленно и плодотворно осваивавшего наследие Чернышевского.

В одном из отзывов отмечалось, что авторы сборников «не стремятся выпрямить, модернизировать взгляды Чернышевского, не скрывают некоторых его противоречий, не пренебрегают оттенками. Кроме того, они не повторяют того, что уже установлено в науке, но углубляют высказанные до них положения или предлагают новые решения вопросов, вводят в научный оборот новые наблюдения и фактические сведения»[25]. Слова рецензента отражают также результаты редакторской работы Е. И. Покусаева, сплотившего в сборнике многочисленный коллектив советских ученых.

Характеристика творческого облика Е. И. Покусаева была бы не полной без учета его особого педагогического дара. Подготовка научной смены была для него потребностью, составляла смысл его существования в науке. Талантливый педагог, он много времени отдавал студентам и аспирантам, приступавшим к изучению Чернышевского. В каждом из общавшихся с ним он умел заметить способности, направить их, найти им применение. «Энергичная, даровитая студентка, — писал он о Т. И. Усакиной, — хорошо воспользовалась теми возможностями, которые издавна складывались на филологическом факультете. Здесь умели поощрить научную

---

[24] Пугачев В. Ценный сборник о Чернышевском. — Русская литература, 1958, № 4, с. 229—234.

[25] Ямпольский И. Хорошая традиция. — Вопр. литературы, 1972, № 10, с. 210. См. также: Гуральник У. Художественный мир Чернышевского. — Вопр. литературы, 1979, № 8, с. 232.

инициативу своих воспитанников, привлечь их к участию в кафедральных исследованиях. Этому способствовали, помимо всего другого, и разветвленная сеть литературоведческих семинаров, специальных курсов, и активно функционировавшее научное студенческое общество»[26]. Е. И. Покусаев писал это, имея в виду заслуги всего преподавательского коллектива и прежде всего А. П. Скафтымова, многие годы руководившего кафедрой русской литературы. Может засвидетельствовать не одно поколение студентов и преподавателей: Е. И. Покусаев продолжил и успешно развил эти существовавшие на кафедре традиции.

В 1975 г. в связи с наступающим 150-летием со дня рождения Н. Г. Чернышевского Е. И. Покусаевым был разработан план кафедральных мероприятий, включающий подготовку книг, сборников, текстов популярных лекций, проведение разнообразных научных консультаций и студенческих кафедральных дней. В последующие два года этот план был значительно расширен. Здесь учтены документальный сборник «К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин о Н. Г. Чернышевском» (совместно с кафедрой истории КПСС), статьи для «Краткой литературной энциклопедии»[27], библиографический указатель[28], комментированный двухтомник литературно-критических статей[29], книга мемуаров о Чернышевском[30], издание «Свистка», сатирического журнала, в котором сотрудничал Чернышевский[31], первый том научной биографии Чернышевского[32], очередной выпуск межвузовского сборника[33], популярные статьи и издания, открытие научно-теоретического кабинета по изучению и пропаганде творчества Чер-

---

[26] Покусаев Е. О Татьяне Усакиной. — В кн.: Усакина Т. История, философия, литература (середина XIX века). Саратов, 1968, с. 5.

[27] См.: Покусаев Е. И. Чернышевский Николай Гаврилович. — Краткая литературная энциклопедия. М., 1975, т. 8, с. 466—476.

[28] Частичным осуществлением этого замысла явилась кн.: Н. Г. Чернышевский. Указатель литературы. 1960—1970/Сост. П. А. Супоницкая, А. Я. Ильина. Науч. ред. Б. И. Лазерсон, В. В. Прозоров. Изд-во Сарат. ун-та, 1976.

[29] См.: Чернышевский Н. Г. Литературная критика. М., 1981. В подготовке издания участвовали Т. М. Акимова, Г. Н. Антонова, Ю. Н. Борисов, А. А. Демченко, А. А. Жук, Г. В. Макаровская, В. В. Прозоров.

[30] См.: Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников/Сост. Е. И. Покусаев и А. А. Демченко. М., 1982.

[31] См.: Свисток. Собрание литературных, журнальных и других заметок. Сатирическое приложение к журналу «Современник». 1859—1863/ Издание подготовили А. А. Жук и А. А. Демченко. Отв. ред. Е. И. Покусаев, И. Г. Ямпольский. М., 1981.

[32] См.: Демченко А. А. Н. Г. Чернышевский. Научная биография. Часть первая/Под ред. проф. Е. И. Покусаева. Изд-во Сарат. ун-та, 1978.

[33] См.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы/Под ред. проф. Е. И. Покусаева. Изд-во Сарат. ун-та, 1978, вып. 8.

нышевского[34]. Ученый готовился к участию в научно-теоретической и межвузовской студенческой юбилейных конференциях. Выполнение «покусаевского плана» потребовало многолетних совместных усилий всех членов кафедры русской литературы.

На открытии памятника Чернышевскому в 1953 г. Е. И. Покусаев говорил: «Студенты и научные работники Саратовского университета, носящего имя Чернышевского, как и все советские студенты, как и все советские ученые, глубоко ценят живые неумирающие традиции подлинно творческой деятельности во имя процветания Родины, традиции, которые так блистательно утвердил всей своей жизнью и своими трудами великий мыслитель»[35]. Ученый обозначил в этих словах глубинные причины никогда не прекращавшегося интереса к Чернышевскому, изучению жизни и творчества которого Евграф Иванович Покусаев отдал свой яркий талант исследователя.

---

[34] Открыт в 1978 г. См.: Ленинский путь (СГУ), 1978, № 22.
[35] Коммунист (Саратов), 1953, 28 июля.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

А

Абрамович С. 127
Авдеев М. В. 47—50, 56, 107
Адлер В. 137
Адлер Э. 137
Акимова Т. М. 161
Аксаков И. С. 105
Александр II 105
Александров В. И. 90
Алексеев Ф. 43
Анненков П. В. 37, 46—48, 122
Антонова Г. Н. 57, 68, 161
Антонович М. А. 76—81, 140
Аристотель 70
Айзеншток И. 57

Б

Базанов В. Г. 52
Базилевский Б. 89
Байрон Дж.-Г. 32, 39, 40—41, 44—45
Бакунин М. А. 60, 89, 105
Баратынский Е. А. 39
Бардин С. И. 90
Бартельс А. 144
Бауэр Э. 144
Бебель А. 137, 142
Беличев Д. И. 50—51, 55
Бекетов А. Н. 122
Белинский В. Г. 13, 19, 24—25, 34, 36—38, 41—45, 49—51, 53, 55, 60, 62, 67, 77, 83, 128, 134, 140, 143, 145—146, 149
Белов Е. А. 110
Берг Н. В. 70—71
Березовский И. П. 119
Берковский Н. Я. 52
Бестужев-Марлинский А. А. 50—56
Билый И. 122
Благосветлов Г. Е. 153
Блан Л. 61
Блюммер А. П. 109
Бобинец С. С. 128
Боборыкин П. А. 76, 81—84
Бобров Е. 25
Богданова М. А. 109, 111
Богословский Н. В. 44
Богучарский В. Я. 89
Боков П. И. 115
Бокова (Сеченова) М. А. 109, 11, 113, 115
Борзова Л. П. 24
Борисов Ю. Н. 161
Боркхейм С. А. 131
Боткин В. П. 122
Ботникова А. Э. 52
Брисмэ Д. 90
Брокгауз Ф. 133, 137
Брюкнер А. 144—146
Булич Н. Н. 38
Бурсов Б. И. 14
Бушканец Е. Г. 68, 75
Бушмин А. С. 153
Бэн 144

В

Варенцов В. Г. 110
Варнгаген фон Энзе 38
Вацуро В. Э. 40
Вебер Г. 133
Вегнер М. 138
Велланский Д. М. 25—26
Вельямович В. 83
Венгеров С. А. 76, 86
Вендель Г. 138
Веневитинов А. 107
Веневитинов Д. В. 25—27, 33
Венцель К. 107
Верховской М. М. 135

* Составлен М. А. Дьяковой

Веселовский А. Н. 25
Ветошников П. 105
Вовчок Е. 120—121, 129
Водолазов Г. Г. 79
Володин А. И. 64, 76, 79
Вольтер 102
Вонлярская 122
Вырубов Г. И. 60—61, 67
Вяземский П. А. 38—39

Г

Галактионов А. А. 8
Галилей 93
Гаркави А. М. 15—16
Гайнцева Э. Г. 127
Гегель 13, 27, 31, 33—34, 66—67, 69, 101, 135
Гельвеций 61
Герцен А. И. 3, 14, 19, 37, 57—73, 91, 94, 105, 107, 134, 140—141, 143, 146, 153, 156
Гейне 134
Гете 55, 134—135
Глаголев Н. А. 57
Гоголь Н. В. 33, 38, 45, 82, 149—151, 155, 156
Голицын А. Ф. 106
Головин И. Г. 112
Головко А. 130
Голубинский Ф. А. 25
Гольбах П. 61
Гольдемит 144
Гольц-Миллер И. И. 106
Гомер 38
Гончар О. 130
Гончаров И. А. 47—48, 86, 101
Гордиенко К. 130
Гофман Э. 54
Грабовский П. 121
Грановский Т. Н. 60
Грачев А. П. 159
Грёз Ж. 55
Грибоедов А. С. 45
Григорович Д. В. 48
Григорьев А. А. 37—38, 46—47
Гуляев Н. А. 54
Гуральник У. А. 118, 160
Гэд Ж. 91
Гюго В. 82

Д

Давыдов И. И. 26
Даниельсон Н. Ф. 138
Данте А. 38, 55
Дантон Ж. 104
Дарвин Ч. 99
Дельвиг А. А. 39
Демченко А. А. 68, 131, 149, 161
Дзеверин А. И. 118
Дидро Д. 10, 102
Диккенс Ч. 156
Дифенбах Г. 138
Дитц И.-Г. В. 141—142
Днепров В. 63
Добролюбов Н. А. 3, 7, 9,—11, 14—23, 49, 62, 67—68, 74—86, 101, 124, 125, 127, 137, 145—147, 151
Достоевский Ф. М. 86, 137, 141
Доценко И. И. 118
Драгоманов М. 119, 122
Дружинин А. В. 12, 37—38, 47
Дукманер Ф. 144
Дукнер Г. 142
Дьяконов К. 151
Дювель В. 136—138
Дюрер А. 55

Е

Евгеньев-Максимов В. Е. 75—76
Егоров Б. Ф. 74
Екатерина II — 102, 107
Ерымовский К. И. 157

Ж

Жакляр 75
Жданов В. В. 157
Ждановский Н. 129
Жемчужников А. М. 149
Жук А. А. 161
Жуковский В. А. 55
Жуковский Н. И. 89

З

Загребельный П. 130
Засодимский П. В. 75—76, 86
Зайцев В. А. 153
Збанацкий Ю. 130
Зеленецкий К. 38
Зельдович М. Г. 7, 14, 23, 37, 49, 118, 122—123, 125
Зибер Н. 76
Зимомря Н. И. 128
Златовратский Н. Н. 75
Золя Э. 83, 129

И

Иваненко О. 121
Иванъо И. В. 121—123
Измайлов Н. В. 54
Ильина А. Я. 161
Итенберг Б. С. 90

К

Кавелин К. Д. 61, 154
Каган М. С. 15
Каменский З. А. 25
Канунова Ф. З. 25
Кант И. 135
Кантор В. К. 10
Капустин В. 126

Карякин Ю. Ф. 64, 79
Касторский М. И. 131
Катков М. Н. 38, 94, 105, 122
Каутский К. 137, 141
Каутский М. 137
Кибальчич Н. И. 75
Килимник О. 119, 123
Киреевский П. В. 27
Клеменц Д. А. 75
Клеменц (Топорнин) Е. Н. 85
Ковалевский М. 25
Козмин Н. К. 28
Козьмин Б. П. 62, 68
Козова М. 136
Кольцов А. В. 127, 156
Кон И. С. 15
Коновалов В. Н. 74
Консидеран В. 60
Корман Б. О. 159
Корниолин-Пинский М. М. 100, 107
Коробчевский Д. А. 76, 84—86
Корсини 109
Костомаров В. Д. 95—97, 99—100, 106—107, 131
Костомаров Н. И. 122, 119
Коцюбинский М. 121
Кравчинский С. М. 89
Крассовский А. Я. 111—112
Креовский Э. 138
Кривенко С. Н. 75, 86
Кричевский Б. Н. 142
Кружков В. С. 10
Крук И. 123—124
Крутикова Н. Е. 120—121, 129
Кронеберг И. Я. 25
Кропоткин П. А. 142
Кудрин-Русанов Н. С. 113
Кузнецов Ф. Ф. 153
Кулешов В. И. 57
Кургинян М. 8
Курочкин Н. С. 75

Л

Лавинь Э. 91
Лаврецкий А. 49, 57
Лавров П. Л. 75, 89, 92, 113, 142
Лазерсон Б. И. 159, 161
Лассаль Ф. 99
Левандовский Л. И. 132
Лежнев А. 52—53
Лекки 104
Ленин В. И. 27, 63, 74, 91—92, 118, 124, 161
Лео А. 75
Лермонтов М. Ю. 45, 50, 141, 156
Лесков Н. С. 131
Лессинг 134, 137
Либкнехт В. 91, 136
Литтре Э. 67
Лищинер С. Д. 71
Лопатин Г. А. 89
Лотман Л. М. 129
Лукаш Н. 107
Луначарский А. В. 129—131
Львов Н. А. 151
Любатович В. С. 90
Любатович О. С. 90
Любимов Н. А. 96
Люксембург Р. 146

М

Макаровская Г. В. 24, 37, 69, 161
Максимов Д. Н. 75
Малинковский В. П. 124
Малон Б. 91, 103
Манн Ю. В. 24—25, 29, 32—33, 65
Марос Э. 92
Маркович Б. 120—121
Маркович В. М. 65
Маркс К. 76, 90, 133, 136—138, 142, 146, 161
Марлинский см. *Бестужев-Марлинский А. А.*
Машинский С. И. 74
Майков В. И. 76
Майский Ф. Ф. 157
Мелихова О. В. 135
Меринг Ф. 134, 142
Мейлах Б. С. 40
Милль Д.-С. 4, 90—93, 138, 140, 145
Милюков А. П. 16
Мирный П. 122, 129
Михайлов М. И. 59, 67, 97, 103, 107—108
Михайловский Н. К. 79—81, 83, 126
Мишле Ж. 61
Мордовцев Д. Л. 110—119
Морозова Е. 131
Моррис У. 92
Мотольская Д. К. 37
Мышкин И. Н. 89

Н

Навроцкий В. 122
Надеждин Н. И. 3, 24—36
Нарежный В. Т. 51
Наумов Н. И. 75
Недзвидский А. 121
Неклюдов Н. А. 61
Некрасов Н. А. 79, 96, 107
Нечуя-Левицкий И. 129
Нечаев С. Г. 64, 96
Нётцель К. 146
Никандров П. Ф. 10
Ницше 147
Новиков Н. И. 107

О

Оболенский Л. И. 83

Огарев Н. П. 57—60, 62, 67, 70, 91, 105
Одоевский В. Ф. 25—26, 29, 23, 51, 55—56
Онгирский Б. 76
Ордынский Б. 70—71
Островский А. Н. 48, 83—84, 101
Оуэн Р. 61

П

Павличенко В. Д. 128
Павлов М. Г. 25, 51
Панухина Н. Б. 108
Пап С. де 90—91
Пашук А. 119
Перелишина В. 126
Петраченкова В. М. 136
Петров Ф. А. 89
Петрова Е. А. 158
Петровский-Ильенко Н. 107
Пехтелев И. Г. 57
Пивоварова Л. 151
Пинаев М. Т. 79
Писарев Д. И. 14, 60, 64—68, 71, 81, 85, 136, 140, 145—147, 153
Писарев М. И. 92
Писемский А. Ф. 47—48
Плеханов Г. В. 63—64, 79—80, 142—143, 146
Плещеев А. Н. 16—19, 22, 97, 100, 106
Плимак Е. Г. 64, 79
Погодин М. П. 26, 27, 38, 51
Покровский М. Н. 147
Покусаев Е. И. 4, 149—162
Полевой К. А. 38—45
Полевой Н. А. 37, 50—51, 53—56
Полонский Г. 138
Попкова Н. А. 37
Порох И. В. 68, 150, 159
Потапов А. Ф. 107
Потехин А. А. 47
Прозоров В. В. 85, 150—161
Протопопов М. А. 86
Протопопова О. П. 110
Птушкина И. Г. 57
Пугачев В. В. 160
Путинцев В. А. 57
Пушкин А. С. 24, 26—29, 32, 35, 37—45, 49—50, 52—55, 69, 82, 122, 127, 156
Пыпин А. Н. 108—110, 114
Пыпин Н. Д. 114
Пыпин П. Н. 114
Пыпина В. А. 111
Пыпина Евг. Н. 4, 109—115
Пыпина Ек. Н. 109, 111—112, 114—116

Р

Радищев А. Н. 102
Ралли З. К. 89
Резник Р. А. 158
Резниченко Т. 119
Решидова Н. 27
Рейнхольдт А. 139—140, 145—146
Рейсер С. А. 115
Рейснер М. 142
Рихтер Д. И. 91
Роберти Е. В. 67, 76, 79
Робеспьер М. 140
Рожалин Н. М. 26
Розенберг А. 144
Роланд-Хольст Г. 142
Ростовцева 113
Рошер В. 69
Рубинер Ф. 147
Руденко В. 126
Руденко Ю. К. 128
Рудницкая Е. Л. 62
Рылеев К. Ф. 141
Рязанов Н. 142

С

Савинов 48
Сажин М. П. 89
Сакулин П. Н. 25—26
Салтыков-Щедрин М. Е. 14, 60, 81, 122, 126, 149—155, 159
Сальникова Т. С. 131
Самосюк Г. Ф. 60
Сандомирская В. В. 43
Сахаров В. И. 25
Селезнев Ю. 55
Сервантес 33
Серно-Соловьевич А. А. 62, 105
Сеченов И. М. 112, 115
Сигрист А. С. 136
Скафтымов А. П. 63, 114, 150, 160—161
Слинько А. 126
Смолич Ю. 130
Соколов Н. 153
Соллогуб В. Ф. 151
Соловьев Г. А. 11
Соловьев С. М. 70—71
Стасова Е. В. 113
Стацевич А. Н. 75
Стендер-Петерсен А. 141
Стеклов Ю. М. 143
Страннолюбский А. Н. 111
Стратен В. 26
Стрельцов Р. 143
Субботина Е. Д. 90
Субботина М. Д. 90
Субботина Н. Д. 90
Сулин Я. М. 107
Суслова (Эрисман) Н. П. 109, 111, 113

Т

Тамарченко Г. Е. 124
Тверитинов А. Н. 4, 89—93
Теплинский М. В. 128—129—130
Терлецкий А. 122
Ткачев П. Н. 81, 83, 89, 105
Толстой Д. А. 107
Толстой Л. Н. 14, 15, 47—48, 82, 124—126, 137
Томазиус 134
Травушкин Н. С. 91—92, 135
Троицкий В. 55
Тунакова К. С. 75, 76
Тур Е. 47—48, 50, 56
Тураев С. В. 8
Тургенев И. С. 47, 64, 65, 67, 70, 77, 78, 82, 101, 107, 149

У

Украинка Л. 121
Усакина Т. И. 68, 160, 161
Успенский Г. И. 105
Успенский Н. В. 149
Устиченко Л. Г. 46
Утин Н. И. 106

Ф

Фан-дер-Флит П. П. 111
Федоров К. Ф. 92
Федорова А. А. 135
Фейербах Л. 67, 135
Фесслер 25
Фигнер В. Н. 90
Фигнер Л. Н. 90
Филарет 25
Философова А. П. 113
Фиркс Ф. И. 105
Фишер К. 27, 28
Форстер Г. 135
Франкель Л. 92
Франко И. 121, 129
Фридрих II 133
Фридлендер Г. М. 138
Фурье Ш. 59, 60, 139

Х

Хен В. 144
Хмелюк Н. 126
Хорст Ш. 147

Ц

Цабель Э. 138—140
Цебрикова М. К. 76, 86
Целестин Ф. 136
Цеткин К. 142

Ч

Чайковский Н. В. 75
Чернышевская Н. М. 109, 114, 115, 120, 155, 156, 159
Чернышевский Г. И. 109
Чернышевский М. Н. 115
Чехов А. П. 149
Чичерин А. В. 52
Чубинский В. Н. 75

Ш

Шаблий М. И. 128
Шаблиовский Е. С. 118—123, 130
Шабоук С. 7
Шассен Л. 91
Шаталов С. А. 129
Шаховский С. 119, 122, 130
Шашков С. С. 76
Швейхель Р. 138
Шевченко Т. Г. 119—120, 122
Шевырев С. П. 31—33
Шекспир 40, 44, 70
Шелгунов Н. В. 14, 100, 107
Шеллинг Ф. 25, 27, 28, 33
Шенье А. 44
Шершевский М. М. 112
Шефер В. 141
Шиллер И.-К.-Ф. 38, 44, 55, 134—135
Шиман Т. 144
Шлайкер Э. 138
Шлоссер Ф. 133
Шолохов М. А. 8
Штольц А. 138
Шувалов И. И. 103

Щ

Щедрин Н. см. *Салтыков-Щедрин М. Е.*
Щербина В. Р. 124

Э

Эбер Ж. 61
Эвелинг Э. 92
Элпидин М. К. 70, 90
Эльсберг Я. Е. 57
Энгельс Ф. 76, 90, 133, 136—138, 142, 161
Эрнст П. 144, 147
Эртель А. И. 75
Эйдельман Н. Я. 40, 71
Эйхенбаум Б. М. 55

Я

Яковлев П. 96, 106, 107
Якушева Г. В. 133
Ямпольский И. Г. 160, 161
Янковский Ю. 121
Ясинский И. И. 76, 85
Яценко Л. В. 10
Ященко 107

СОДЕРЖАНИЕ

Исследования и статьи

Зельдович М. Г. Концепция личности как программная категория в работах Чернышевского и Добролюбова *(Заметки и наблюдения к постановке проблемы)* 7
Борзова Л. П. Чернышевский об «идее искусства» в эстетике Н. И. Надеждина 24
Попкова Н. А. Чернышевский над страницами «Московского телеграфа» *(Из полемики Чернышевского в статьях о Пушкине)* . 37
Устиченко Л. Г. Чернышевский о типологических особенностях русской прозы первой половины 1850-х годов 46
Антонова Г. Н. Роман «Что делать?» в оценке Герцена . . 57
Коновалов В. Н. Эстетика Чернышевского и Добролюбова на страницах журнала «Слово» 74

Материалы и сообщения

Петров Ф. А. Неизвестная рукопись А. Н. Тверитинова . . 89
Чернышевская Н. М. Двоюродная сестра Чернышевского Евг. Н. Пыпина 109
Доценко И. И. Изучение Чернышевского на Украине (1968—1978) 118
Якушева Г. В. Чернышевский в немецкой критике (1870—1945) 133
Демченко А. А. К истории советской науки о Чернышевском. Евграф Иванович Покусаев 149

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Статьи, исследования и материалы

Межвузовский научный сборник

Выпуск девятый

ИБ № 1720

Редактор М. П. Ларина
Технический редактор Л. В. Агальцова
Корректор Л. Н. Александрова

Сдано в набор 2.12.82. Подписано к печати 30.08.83. НГ52336. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага типогр. № 3. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 10,5. Уч.-изд. л. 11,7. Тираж 700. Заказ 120. Цена 1 р. 70 к.

Издательство Саратовского университета. 410601. Саратов, Университетская, 42.

Производственное объединение «Полиграфист» Управления издательств, полиграфии и книжной торговли Саратовского облисполкома. Саратов, пр. Кирова, 27.

1 р. 70 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1983